

Прораб Вася и Колизей



Алексей Кукушкин

18+

Алексей Кукушкин

Прораб Вася и Колизей

<https://litres.ru/74666413>

SelfPub; 2026

Аннотация

Прораб Вася упал с балки на тюменской стройке и очнулся в Риме, том самом, где рабы потеют в карьере, патриции теребят кайму туник, а камни пахнут известью и чужой кровью. В кармане медальон, который греет сильнее, чем должен греть металл.

Срок восемь лет строительства Колизея. Восемь рядов, и ни одним больше. Девятый трещина, а трещина это те двое, которых уже убило.

Между Васей и свободой стоит Ливия, дочь патриция. Между Васей и смертью Марк, изгнанный, но не ушедший. Между Васей и правдой писец Секст, написавший ложь за восемь ауреусов, где-то там, в реанимации, мать держит его руку и считает: раз, два, три...

В книге пять уровней глубины. Быт: акведук, камень, вода. Тайна: медальон, который теплеет рядом с честными и холодеет рядом с теми, кто хуже человека. Марк не человек. Четвёртый и пятый найдёте сами...

Здесь нет случайных деталей: Чертёж. Воск. Восемь. Девятый ряд. Всё выстрелит! Вопрос когда и в кого?

Книга написана «сухим минимализмом», каждое слово как камень!

Содержание

Глава 1. Падение	5
Глава 2. Первые камни	30
Глава 3. Долг	59
Глава 4. Апулей предупреждает	88
Конец ознакомительного фрагмента.	104

Алексей Кукушкин

Прораб Вася и Колизей

Глава 1. Падение

Тюмень. Стройка. Третий этаж. Дождь.

Дождь в Тюмени это не погода, а диагноз. Он не идёт сверху, а висит в воздухе, как взвесь цементной пыли, и оседает на всём: на плечах, на ресницах, на бутерброде с колбасой, который прораб Михалыч оставил на подоконнике в бытовке и который теперь, наверное, разбух и превратился в нечто, напоминающее его самого — серое, мокрое и с запахом безысходности.

Площадка пахла мокрым бетоном, ржавой арматурой и мужским потом, который в такую погоду пахнет не потом, а чем-то средним между кислой капустой и старой собакой. Где-то внизу, в бытовке, бригада пила чай из термоса и спорила, забудёт ли «Зенит» «Спартак». Спор шёл третий час, и никто не собирался его выигрывать, потому что в этом споре, как и в любом споре о футболе, побеждает не тот, кто прав, а тот, кто дольше сидит.

Вася стоял на уровне третьего этажа. Под ногами у него находился не пол, а простая доска. Двадцать сантиметров шириной, мокрая, с насечкой от старых гвоздей, которые

помнили ещё ту стройку, когда здесь был гараж, а гараж помнил, что когда-то он был баней, а баня помнила, что когда-то она была ничем, и это, пожалуй, было лучшее время в её жизни.

Под доской расположены двенадцать метров пустоты, затянутой дождевой взвесью. Вася не смотрел вниз. Он смотрел вверх. Он вообще привык смотреть вверх, это его профессиональная привычка, как у стоматолога смотреть в рот, а у патологоанатома в потолок.

Балка шла. Двухметров, двенадцать метров, тонна восемьсот. Крановая стрела подавала её медленно, торжественно, как подают блюдо в плохом ресторане, с видом, что это самое важное, что случится в вашей жизни, и вам лучше это оценить. Стропальщик внизу, Санёк, машет руками и что-то кричит, но ветер относит слова, и до Васи доходит только «...опу... на... бля...», что, в сущности, исчерпывающе описывает ситуацию.

Вася посчитал угол. Утром, на кухне, пока жена Лена греет чайник и ругалась, что он опять не вынес мусор, он на салфетке нарисовал схему. Прикинул нагрузку на стропы. Ветровую. Крен. Всё сходилось. Всё всегда сходится на салфетке. На салфетке вообще всё получается: и дом, и счастье, и мировая революция, а потом приходишь на площадку, и оказывается, что ветер дует не оттуда, откуда дует по СНиПу, а оттуда, откуда ему вздумается, и крановщик Петрович вчера выпил, и стропы не те, и Санёк опять матерится не по делу.

Но угол был верный. Вася в этом был уверен так же, как был уверен, что Михалыч опять забудет подписать наряд, а Санёк опять забудет, где лежит его каска.

Он привычно вытянул руки вверх, но не так, как поднимают ребёнка, а так, как принимают балку: ладони развёрнуты внутрь, пальцы чуть согнуты, хват — не мёртвый, а живой, такой, чтобы балка, если что, могла чуть дёрнуться и не вырваться. Перчатки мокрые. Каска — оранжевая, единственное цветное пятно в этом сером мире, который, кажется, специально сделали серым, чтобы люди не отвлекались на красоту и думали о работе.

Утром он заметил на каске трещину. Тонкую, у левого виска, паутинкой. Подумал — показалось, но не показалось. Трещина была, как была трещина в его жизни, которую он не замечал, пока не стало поздно, но об этом он подумает потом, когда будет время думать, а сейчас — балка.

— Пошла! — кричит Санёк снизу. — Балка пошла! Вася, принимай, ё-моё!

Последнее «ё-моё» было не ругательством, а техническим термином, означавшим «внимание, сейчас будет тяжело». Вася кивнул, хотя Санёк его не видел, и приготовился.

Три секунды.

Первая секунда — это когда балка касается рук, и ты понимаешь, что тонна восемьсот — это не цифра, а давление, дрожь в предплечьях, хруст в позвоночнике, и что ты, в сущности, не человек, а прокладка между балкой и землёй, и

твоя задача — чтобы эта прокладка не лопнула.

Вторая секунда — это когда балка ведёт себя не по расчёту. Она не идёт ровно, вильнула, повела, как живая, как рыба на крючке, которая вдруг решила, что она не рыба, а птица, и пытается взлететь. Ветер ударил в бок. Дождь залил глаза и угол, который он посчитал на салфетке, перестал существовать. Потому что салфетка — это одно, а ветер — это совсем другое.

Третья секунда — это когда что-то хрустнуло, не в балке, а стропе и Вася понял вдруг, с ледяной ясностью, что человек против физики, это просто недоразумение. Балка не спорит, она просто есть и она делает то, что делает, падает туда, куда её тянет земля, а земля в Тюмени тянет всегда вниз, и никогда — вверх, как бы тебе этого ни хотелось.

Он не прыгнул. Прыгать запрещено. Сделаешь это и значит, бросил, а Вася не бросал никогда, ни балку, ни работу, ни Лену, которая опять будет ругаться, что он не вынес мусор, хотя уже не сможет. Он держал до последнего. Руки вверх. Зубы сжаты. Трещина на каске ползла дальше, к виску, и Вася почему-то подумал, что трещина эта, как его жизнь, начиналась с малого, а кончилась тем, чем кончилась.

Последовал удар.

Не больно. Боль — это потом. Боль приходит, когда есть кто-то, кому болеть, а тут — сразу темнота. Оранжевая каска полетела в грязь, где её найдёт Санёк и будет материться, что опять кто-то не убрал, а Вася в другую сторону. Дождь на

секунду стал красным, потом серым, а где-то внизу, в бытовке, Михалыч дописывал наряд. В графе «Техника безопасности» он поставил галочку, не глядя, потому что галочку в этой графе ставят все, как ставят подпись в графе «Ознакомлен с инструктажем» — не потому что ознакомлен, а потому что так надо и балка на третьем этаже лежала ровно, аккуратно, как и было задумано. Только под ней теперь тишина и мокрая доска, на которой ещё вчера стоял человек, уверенный, что угол посчитан верно и бутерброд на подоконнике разбух окончательно и превратился в нечто, что уже не напоминало Михалыча, а было им.

Дождь шёл и тут настала темнота густая, как тюменский дождь, и такая же холодная.

Больница. Реанимация. День.

В реанимации пахло хлоркой, варёной морковью из столовой и чем-то ещё — тем самым запахом, который бывает только в больницах и который не спутаешь ни с чем: запах ожидания. Не надежды и не отчаяния — просто ожидания, как на перроне, когда поезд уже должен был прийти, но не пришёл, и никто не знает, опоздал он или его отменили.

Писк аппарата был ровный, как метроном у дирижёра, который забыл, зачем дирижирует. Один. Пауза. Два. Пауза. Этот звук в реанимации был старше всех — старше врачей, старше родственников, старше самого Васю, который лежал под простынёй и дышал не сам, а по расписанию. Аппарат дышал за него — вдох, выдох, вдох, выдох — и в этом ритме

была такая чужая воля, что казалось: дышит не Вася, а кто-то, кто решил за него, что ему ещё рано.

Белый свет ламп не грел. Он стерилизовал. Выбелил всё до кости: лица, халаты, простыни, мысли. В таком свете даже грусть становится белой и аккуратной, как бинт на голове.

Мать сидела рядом. Она приехала из деревни: автобус, перекладные, шесть часов в дороге, и теперь держала его руку. Обеими руками, как держала в роддоме, как держала, когда он в шесть лет упал с велосипеда и разбил коленку, и она думала, что хуже уже ничего не будет, а потом было много чего хуже, и оказалось, что хуже, это не предел, а направление.

Она не плакала. Она сидела и смотрела на его серое, как бетон лицо на той стройке, только без дождя. Голова забинтована. Красной каски нет, а есть бинт, белый, ровный, аккуратный, как саван в миниатюре. Одна рука поверх одеяла. Другая под одеялом. Трубки. Провода. Тонкие, как паутина, как та трещина на каске, о которой она ещё не знала.

— Васенька, — сказала она. Голос тихий, но в белой комнате звучал громко, как крик в библиотеке, где все и так всё слышат. — Васенька, сынок.

Писк. Пауза. Писк.

Дверь приоткрылась, и в щель просунулась голова медсестры Зины — круглая, румяная, с глазами, которые видели всё и удивлялись только тому, что люди до сих пор удивляются.

— Мария Петровна, — сказала Зина. — Вы бы пошли

поели, в столовой сегодня гречка.

— Не хочу, — сказала мать.

— Надо, — сказала Зина. — Вы третий день не едите, а если вы упадёте, мне за вас отвечать. Простите, но я за вас отвечать не хочу, у меня свои заботы.

Мать посмотрела на неё — и чуть улыbnулась. Зина была такая, что ей нельзя было не улыbnуться. Она была из тех людей, которые держат больницу на своих плечах не потому что должны, а потому что больше некому.

— Зиночка, — сказала мать. — Я посижу ещё у сыночка, он у меня единственный.

— Ну сиди, — сказала Зина. — Только если что — зови, я в ординаторской, там кофе, желудевый, но кофе.

Зина скрылась. Дверь закрылась так тихо, как закрываются двери только в больницах, с уважением к тем, кто внутри.

У матери в кармане халата лежит маленькая овальная вещь на цепочке. Никола Угодник. Он был на Васе, когда его привезли; в приёмном покое сняли, отдали матери вместе с одеждой, куртка рваная, ботинки в бетоне, каска треснувшая. Она держала медальон в кулаке, и медальон был тёплый, не от кармана, а тёплый сам по себе, как живая ладонь. Она замечала это и не понимала, а просто держала.

Врач вошёл не сразу. Сначала появилась тень под дверью, а потом и сам. Молодой, в белом халате поверх голубых хирургических брюк, руки в карманах. Смотрел на монитор, на линию жизни, ровную, с редкими зубцами, и качал голо-

вой. Не резко, медленно, как маятник в старых часах, которые давно не заводили, но которые всё ещё идут, потому что забыли остановиться.

Мать видела это движение боковым зрением и сжала руку сына крепче.

— Доктор... — начала она.

— Он стабилен, — сказал врач. — Пока стабилен.

Она знала это слово. «Пока». В этом слове было больше, чем во всех остальных, которые врач скажет за сегодня. «Пока» — это когда ты ещё не решил, что сказать дальше и не хочешь расстраивать.

— Но состояние тяжёлое. Очень тяжёлое, мы делаем всё, что можем.

— А что вы можете? — спросила она.

Врач посмотрел на неё. В его глазах она увидела то, что видят все матери в таких глазах: он молод, он устал, он видел сегодня трёх таких, как Вася, и к вечеру будет ещё один и он не знает, выживет Вася или нет, но он знает, что сказать ей нужно что-то, что её хоть немного отпустит.

— Мы следим, — сказал он. — Это главное, следить, в данной ситуации, это уже много.

Она кивнула, уже не понимала слов. Она понимала тон, который говорит: молись или не молись, это уже не поможет.

— Васенька, — шептала она. — Ты слышишь меня? Ты слышишь? Это мама. Я к тебе пришла...

Писк. Пауза. Писк.

И где-то не в палате, не в коридоре, не в этом мире, но Вася слышал.

Сначала это было не звуком, а давлением в ушах, шумом, как кровяное давление на глубине или ракушка приложенная к уху, потом, как тонна восемьсот, только не на руки, а на всё сразу. Он не чувствовал тела, его не было. Было только «я» и что-то ещё, огромное, белое, без края. Он падал или плыл? Вниз, в темноту, и темнота была не пустая, она была полна шёпота.

Река. Он не видел её, но знал: под ним река. Чёрная, медленная, без берегов и в ней голоса. Много голосов. Они говорили тихо, неразборчиво, как толпа за стеной, которая спорит о чём-то, что уже не имеет значения. Среди них был один — знакомый. Он тянулся к нему, но вода тянула вниз, и он не знал, куда плыть: вверх, где белый свет и писк, или вниз, где голоса и покой.

Писк. Мать наклонилась к самому его уху. Губы дрожали. Она говорила и слова падали в белую тишину, как капли с потолка, который давно не ремонтировали:

— Васенька. Сынок. Не уходи. Не уходи, слышишь? Я тебя прошу. Я тебя очень прошу...

Её голос был тонкий, как нить, но в темноте, у реки, эта нить натягивалась. Вася чувствовал её, не слышал, а чувствовал: как трос, как строп, как что-то, за что можно взяться. Он тянул руки вверх привычно, как держал балку, и нить натягивалась сильнее.

И тогда он услышал голос, не мамин, а другой. Ровный, спокойный, без интонации, как голос человека, который считает деньги и не ошибается:

— Один.

Писк.

— Два.

Писк.

— Три.

Он не понимал, кто считает и зачем, но счёт шёл, и с каждым числом темнота отступала на шаг. Река отходила. Голоса в ней стихали. Белый свет становился ближе, не стерильный, а тёплый, как лампа на кухне, как чайник, как салфетка с расчётом.

— Четыре.

Писк.

— Пять.

Мать плакала. Слезы шли по лицу, и она их не вытирала, ей было некогда, руки заняты, она держала сына. Одна слеза упала ему на руку. Вася не чувствовал, но нить почувствовала: она вздрогнула, как струна.

— Шесть.

Врач отошёл от монитора. Посмотрел на часы. Что-то записал в карточку — наверное, время, потому что в больнице время — это главное, что есть у врача.

— Семь.

Писк.

— Восемь.

Писк.

Тишина.

И в этой тишине раздался первый звук. Не писк. Не голос, а что-то другое. Слабый, хриплый, почти неслышный вдох — свой, не аппаратный. Вася дышал сам. Один раз. Второй.

Мать вскинула голову. Медальон в её кулаке был горячий, такой горячий, что она чуть не выронила, но не выронила, потому что такие вещи не роняют.

— Доктор! — крикнула она. — Доктор, он дышит!!!

Врач обернулся. Линия на мониторе та же. Ровная, но что-то в ней изменилось: зубцы стали чаще. Живее, как будто кто-то внутри этой линии проснулся и решил, что пора, а где-то у реки, уже не у реки, а на берегу Вася открывал глаза. Внутри. Ещё не снаружи и первое, что он увидел, не белый свет, а красную каску. Она лежала на мокрой доске. Трещина на ней была длинная, до самого виска.

Он посчитал угол, тот его не спас, но голос, который считал до восьми, он запомнил. Он ещё не знал, чей он, но обязательно запомнит. Запомнит так, как запоминают то, что потом определяет всю жизнь.

Писк. Пауза. Писк.

Часы шли и жизнь тоже. В этой тишине прозвучало ровное, спокойное, восьмое, как голос человека, который знает, что делает.

Пустота между мирами. Вне времени. Латынь.

Сначала он не ощущал ничего.

Не тьма. Тьма имеет цвет, а здесь цвета не было, как не было его у совести у председателя колхоза, который раздавал премии сам себе. Не тишина, она имеет край, а здесь края не было, как не было края у терпения у Вася, когда он в третий раз за неделю слушал, как Михалыч объясняет, почему техника безопасности — это не главное.

Было только падение, оно не имело дна, потому что дно, это тоже край, а здесь края не было, как не было края у зарплаты у крановщика Петровича, которая всегда кончалась раньше, чем начиналась.

Вася падал вверх, вниз, вбок — он не знал куда, у него не было тела, чтобы знать. Было только «я», и это «я» рассыпалось, как рассыпается сахар в чае, который забыли размешать.

Он попробовал открыть глаза, не получилось. Глаз не было. Он попробовал закричать, но и рта не было. Он попробовал вспомнить и памяти не было. Всё, что было: стройка, дождь, балка, мать, писк, — всё это не было стёрто, но было отодвинуто, как мебель в комнате, где делают ремонт, и ты стоишь в коридоре и думаешь: а где, собственно, я?

И тогда пришли голоса.

Они не звучали в ушах, их не было. Они звучали в нём, и от этого было хуже: от голосов в ушах можно закрыть уши, а от голосов в себе не закроешься, разве что выпьешь, но выпить тоже было нечем.

Голосов было сотни, тысячи. Они говорили шёпотом, хором, вразнобой. Одни — на языке, которого он не знал, но который всё-таки понимал, как понимают пьяного соседа, который объясняет, как надо жить. Другие просто дышали. Третьи смеялись — сухо, коротко, как трещит лёд, или как трещит зарплата в конце месяца.

Он сжался — и сжалось не тело, а то, что от него осталось. Разум против хаоса. Разум проиграл, как проигрывает разум против начальника, который решил, что ты виноват.

— Кто здесь? — спросил он. Слова не вышли наружу, а ушли внутрь, в пустоту, и пустота их проглотила, как проглатывает слова прораб, когда говорит «сделаем завтра», и завтра не наступает никогда.

Вдруг зазвучал один голос. Резкий, как удар линейкой по столу, или как удар плетью по спине, или как удар судьбы по голове, что, в сущности, одно и то же. Он говорил на латыни, и латынь эта была не церковная, не школьная, а латынь приказов, латынь центуриона, который не спрашивает, а говорит. Вася не знал языка, но понимал каждое слово, как понимают слова матери, даже если она говорит на китайском.

— Surge! — сказал голос. - Встань.

И тишина наступила. Не та тишина, которая бывает, когда все замолчали, а та, которая бывает, когда все испугались. Голоса оглохли, как глохнет радио, у которого выдернули провод, или как глохнет бригада, когда приходит заказчик.

И в этой тишине стало слышно ещё что-то: Песок, который сыпался откуда-то сверху, бесконечно, ровно, — и это был единственный звук, у которого было направление. Направление — вниз, как у зарплаты, как у жизни после сароса, как у всего, что имеет вес.

— *Salve, viator*, — сказал голос. - Приветствую, путник.

Вася молчал. Он не знал, как отвечать, да и говорить ли вообще. Страх сойти с ума был сильнее страха смерти: сумасшествие не кончается, у него нет дна, как у зарплаты у краповщика Петровича нет потолка. Он не хотел отвечать, потому что ответ делает голос настоящим, а настоящий голос — это проблема, как настоящий начальник — это проблема, а настоящий бог — это уже катастрофа.

— Ты не первый, — сказал голос. — И не последний. Все падают одинаково. Разница только в том, что у тебя в руках, когда падаешь.

— У меня ничего нет, — сказал Вася и удивился: слова всё-таки вышли. Как вышли слова у Санька, когда он матерился, хотя должен был молчать.

— Есть, — сказал голос. — У тебя есть счёт. Ты слышал его, цифру восемь.

Восемь. Вася вспомнил: ровный голос, без интонации, один, два, три... И вместе с памятью пришло первое ощущение, не зрение, не слух, а вкус. Сухой, пыльный, тёплый. Песок. Как тот песок, который хрустит на зубах, когда ветер дует с площадки в лицо, и ты думаешь: а не пойти ли мне в

другую профессию?

— Что это было? — спросил он.

— Счёт, — сказал голос. — Закон. Здесь всё считается. Здесь всё имеет меру. Даже ты. Особенно ты.

Вася закрыл лицо руками и руки возникли! Он не заметил, как они появились, — но они были, и ладони пахли песком, как пахнут ладони у каменотёса, который не мыл руки после смены. Он не открывал глаза. Что-то внутри, старше страха, говорило: не открывай. Пока не открыл — ты ещё можешь выбирать. Открыть — значит увидеть, а увидеть — значит принять, а принимать — это работа, а работы у него и так хватало.

— Ты хочешь понять, — сказал голос. Не спрашивал. Знал, как знает прораб, что бригада опять забухает в пятницу.

— Хочу, — сказал Вася.

— Тогда слушай. Ты держал балку. Балка тебя не держала. Ты посчитал угол, но он тебя не посчитал. Здесь не так. Здесь всё считается, и счёт ведётся не в твою пользу. Восемь это не число, а приказ.

— Чей? — спросил Вася.

Голос молчал и в молчании Вася слышал, как песок сыплется быстрее или это его падение ускорилося. Он не мог отличить одно от другого, как не мог отличить работу от жизни, когда работал по шестнадцать часов.

— Чей? — повторил он.

— Узнаешь, — сказал голос. — Когда откроешь глаза.

— А если не открою?

— Тогда останешься здесь. Будешь падать вечно. Будешь слушать голоса. Будешь считать сам, до восьми, до тысячи, до конца, которого нет. Это тоже выбор. Некоторые выбирают, как выбирают работу в офисе, а потом жалеют, что не выбрали в поле.

Вася привычно сжал зубы, как на стройке, как под балкой, и понял, что здесь это не поможет. Здесь нечего держать. Здесь нет балки, нет доски, нет каски с трещиной. Здесь есть только он и пустота, и пустота смотрит на него, как смотрит заказчик, который уже решил, что ты виноват.

Песок сыпался. Он чувствовал его на ладонях, на лице, в волосах. Он не открывал глаз. Часы не шли, потому что их не было. Время здесь было не в счёте, а в песке и песок сыпался, как сыплется зарплата, как сыплется жизнь, как сыплется всё, что имеет вес.

Тогда он сделал то, чего не делал никогда: разжал руки. Опустил их. Подставил лицо песку.

Песок ударил в лицо — сухо, горячо, до слёз и в этом ударе было первое ощущение, которое принадлежало только ему. Не голосу. Не пустоте, а ему. Как принадлежит ему мозоль на ладони, как принадлежит ему трещина на каске, как принадлежит ему жизнь, которую он прожил, даже если она прожита неправильно.

Он открыл глаза.

Чёрное стало жёлтым. Свет не белый, не стерильный: жёлтый, густой, как песок, который его ослепил, или как пиво, которое Петрович пьёт после смены, или как солнце, которое в Тюмени бывает только в июле, и то через облако.

Вася стоял — стоял, а не падал — на чём-то твёрдом и не понимал: то ли он только что приземлился, то ли падал всегда, а теперь просто перестал, как перестают падать в бездну, когда понимают, что бездна, это и есть дно.

Песок сыпался откуда-то сверху. Бесконечно, как сыплется всё, что имеет вес.

Голос молчал.

Но Вася знал: голос не ушёл. Голос ждал и голос сказал «восемь» так, как говорят приказ, как говорит прораб, когда говорит «сделаем к пятнице», и все знают, что к пятнице не сделают, но делают вид, что сделают.

И где-то там, впереди, за песком, тот, кто считает, чей голос он уже слышал. Один раз, у широкой реки.

Он придёт. Вася почему-то был уверен, что придёт, как был уверен, что Михалыч опять забудет подписать наряд, а Санёк опять забудет, где лежит его каска, а пока — лишь песок в лицо. Песок в ладонях, как время, которое сыплется, пока ты думаешь, что оно стоит.

И Вася пошёл. Потому что стоять в песке, когда он сыплется, это то же самое, что стоять на стройке, когда идёт дождь: мокро, холодно, и работать всё равно надо.

И песок пошёл: в лицо, в ладони, в глаза, и с этим песком

пришло первое ощущение, что он — жив.

Колизей. Стройка. Утро. Солнце. Пыль.

Свет ударил в глаза, как кулак, но не простой, а такой, какой бывает только на юге: тяжёлый, плотный, с запахом разогретой пыли, который лезет в нос раньше, чем ты успеваешь сообразить, что ты вообще дышишь.

Вася лежал на спине. Первое, что он понял: спина есть и спина эта лежала на камнях: острых, тёплых, как чужие зубы, которые забыли вынуть из рта. Песок набился в воротник, в уши, в рот, он хрустел на зубах и пах не бетоном, не хлоркой, не морковью из столовой, а чем-то старым, сухим, звериным, как пахнет нора, в которой долго никто не был.

Он прищурился. Небо над ним было жёлтое, выцветшее, без единого облака, и солнце в нём стояло так высоко, как в Тюмени не стоит даже в июле, так как местное солнце всегда стесняется и прячется за облако, как стеснительный бухгалтер, а это — не стеснялось, а смотрело прямо в лицо и говорило: ну-ка, поживи под мной, посмотрим, что из тебя останется к обеду.

Вася сел, медленно, как старик, тело слушалось, но каждое движение отдавалось в голове глухим гулом, как отдаётся удар молотка, если бить не по гвоздю, а по пальцу, а он увидел - Арену!

Песок под ногами — жёлтый, утопанный, с тёмными пятнами, которые он разглядывать не стал, потому что прораб он или кто. Стены вокруг — камень, серо-жёлтый, в трещи-

нах, увитый пылью, которая здесь была не пылью, а чем-то вроде вечной штукатурки. Наверху — трибуны: ряды, ряды, ряды, пустые, как трибуны в день перед матчем, когда ещё никто не пришёл, но уже все знают, что сегодня будет драка.

А над трибунами возвышался громадой Колизей! Только он был неправильный.

Вася увидел это сразу, потому что не видеть этого было нельзя, как нельзя не видеть, что прораб Михалыч опять пришёл в новых штанах, — значит, сегодня будет проверка. Громада из жёлтого камня, арки, ярусы, всё как положено, но эта маленькая, не та, какой должна быть. Та, настоящая, — это небо, перечёркнутое камнем, это когда стоишь внизу и думаешь: а не многовато ли чести для человека, столько камня таскать, а эта: как макет; Как декорация в театре, где декоратору не хватило бюджета; Как дом, который строил племянник, а потом племянника уволили, а дом достраивали уже без него, по памяти.

И от этого несоответствия у Васи холодеет в животе сильнее, чем от всего остального. Потому что он прораб. Пятнадцать лет. Он видит косяки так же, как другие видят, что у соседа забор кривой.

Он смотрел внимательнее. Арки — узкие, не в полтора пролёта, как должны быть, а в один. Ярусы — несимметричные. Левая сторона выше правой на полметра, и это было видно так же ясно, как видно, что у Михалыча усы подстрижены неровно. Колонны не коринфские, а какие-то приземи-

стые, будто их обрезали, как обрезают премию в конце года.

Кто-то строил это по чертежу, и чертёж был неправильный, а неправильный Колизей страшнее, чем правильный. Потому что правильный — это история, а неправильный — это ошибка. Ошибка это кто-то, который её допустил и этот кто-то находится здесь, где-то наверху, в пурпуре.

Где-то далеко, за стеной, стучал молоток. Стучал ровно, как метроном у дирижёра, который дирижирует не симфонией, а чужой жизнью. Стройка.

Вася поднял голову. На верхней трибуне виден силуэт человека. Стоит неподвижно, руки сложены на груди, как складывают руки те, кто уже всё решил и теперь просто смотрит, как другие мучаются. Туника не красная, и не серая, а пурпурная. Кайма — широкая, золотая. Он смотрел вниз: на стройку, на песок, на Васю. Смотрел долго, как смотрят на муравья, который заблудился. Потом повернулся и ушёл.

Вася не успел разглядеть лицо, но запомнил: пурпур, это власть, а власть это проблема, как Михалыч, это проблема, только в тысячу раз больше.

— Живой?

Над ним стоял другой человек, уже короткой красной тунике, грязной, пропотевшей под мышками так, что там были уже не пятна, а ландшафты. Лицо у него было обветренное, злое, глаза маленькие, как у птицы, которая давно не ела и уже не верит, что когда-нибудь поест. В руке держал плетё, не бич, не кнут, а плетё, короткую, с утолщением на конце, и

держал он её так, как держат ложку, — потому что, видимо, ею же и ел, когда не бил.

— Живой, — сказал Вася. Голос у него был хриплый, чужой, как голос у человека, который три дня молчал, а потом решил сказать что-то важное, и важно это было — «живой».

— Живой, — повторил человек и сплюнул в песок. — Плохо.

— Почему?

— Мёртвые работают тише.

Он не смеялся, а просто говорил, и в этом «плохо» было больше правды, чем во всех инструктажах по технике безопасности, которые Вася прослушал за пятнадцать лет. Вася посмотрел на него и понял, что этот человек не злодей, а надзиратель. Он боится плети не меньше, чем тот, кого он ею бьёт, — только его плеть где-то выше, за трибунами, и её не видно, но она есть, и она длиннее, и она больнее.

— Вставай, — сказал надзиратель. — Работай.

— А ты кто? — спросил Вася.

Надзиратель посмотрел на него, как смотрят на человека, который спросил, зачем дышать.

— Секунд. Я — секунда. Ты — раб. Разница в том, что я стою, а ты лежишь и ещё в том, что я могу сесть, когда захочу, а ты нет.

— А тот? — Вася кивнул на трибуну. — В пурпуре?

Надзиратель поднял голову. Смотрел туда, куда указал Вася. Но там уже никого не было — только солнце, которое

смотрело в ответ с таким видом, будто это оно и было тем, в пурпуре.

— Это не твоё дело, — сказал секунда. — Твоё дело встать.

— А если не встану?

— Тогда я помогу, не потому что я злой. Потому что мне за тебя отвечать, а я за тебя отвечать не хочу. У меня свои заботы.

Он поднял плетъ. Не угрожающе — просто показал. Плетъ висела в руке, как висит удавка, которую ещё не решили использовать, но и не решили убрать.

— Сколько у меня времени? — спросил Вася.

— Восемь лет, — сказал секунда. — Восемь лет на Колизей, не построишь — умрём все. Ты, я, тот, в пурпуре, и даже солнце, потому что оно тоже под нами.

Восемь лет. Вася подумал: восемь это много или мало? Он не знал. Он знал только одно, что восемь, это не десять, а здесь всё считается до восьми. Он это уже понял. В реанимации. Когда голос считал. Один, два, три...

— А если я не раб? — сказал он.

Секунда посмотрел на него долго. Потом медленно наклонился, без злобы, как наклоняются к ребёнку, который сказал, что он царь, и царь этот — из песочницы.

— Здесь все не рабы, — сказал он. — Пока не встанут.

Вася закрыл глаза на секунду. Перед глазами — мать. Медальон в её кулаке. Писк. Восемь. Потом — каска. Оранже-

вая. Трещина. Потом — Михалыч, который ставит галочку в наряде, не глядя. Потом — Лена, которая ругается, что он не вынес мусор. И он подумал: а не вынес и уже не вынесет. Никогда.

Он открыл глаза. Песок. Красная туника. Плеть.

И почувствовал: в кармане, что-то тёплое. Он сунул руку. Пальцы нащупали металл. Овал. Цепочку. Медальон. Тот самый. Никола Угодник. Мать держала его в кулаке в реанимации, а теперь он у Васи, тёплый и живой.

Он не понимал, как, но понимал, что это это знак или якорь, а может, и то, и другое, как бывает, когда бутерброд и еда, и оружие, потому что им можно кинуть в Михалыча.

— Где я? — спросил он.

— На дне, — сказал секунд. — И это не метафора. — Он показал плетью вниз, на песок. — Здесь дно. Всё, что выше, уже не наше дело.

Секунд выпрямился.

— Минута, — сказал он. — Потом плеть, не потому что я злой. Потому что мне за тебя отвечать, а я за тебя отвечать не хочу.

И отошёл. Недалеко — шагов на пять. Встал. Смотрел. Плеть висела в руке.

Вася сидел в песке. Солнце жгло затылок, как жжёт оно только на юге — нещадно, без скидок на возраст и профессию. Пот тёк по спине, и рубахи на нём не было — только что-то вроде набедренной повязки, грубой, пропылённой,

в которой, как он подозревал, ходили все, кто не догадался сбежать.

Он смотрел на свои руки. Руки как руки. Мозоли на ладонях с той стройки, с тюменской. Синие вены. Песок под ногтями. Руки, которые пятнадцать лет держали то, что держать не полагается, и теперь будут держать то, что полагается ещё меньше.

Он жив. Это первое, что он понял окончательно. Жив — но не там. Жив — но не тот. Жив — но не свободен, и это не сон, потому что во сне не бывает такого песка, который хрустит на зубах и не кончается, как не кончается зарплата, которой хватает на три дня.

Он поднял голову и снова посмотрел на Колизей.

Неправильный. Маленький. Арки узкие. Ярусы несимметричные. Колонны приземистые. Будто кто-то построил его по памяти и память подвела. Или будто кто-то строит его заново, и стройка ещё не закончена: там, наверху, стучат молотки, и ветер несёт пыль, и пыль эта оседает на трибунах, как снег, которого здесь, видимо, не бывает, как не бывает в Тюмени солнца без облака.

И где-то там — человек в пурпуре. Тот, кто смотрел. Тот, кто ушёл. Тот, кто — власть.

Вася встал.

Медленно. Упираясь ладонями в песок. Сначала на колени. Потом на ноги. Секунд смотрел и не бил. Ещё не бил. Может быть, потому что удивился, а может быть, потому что

устал, быть может быть, потому что плеть она тяжёлая, и махать ею просто так, это всё равно что махать каской: вроде движение есть, а смысла ноль.

И Вася сделал первый шаг по песку.

Песок скрипнул под ногами. Солнце жгло. Где-то ровно стучал молоток, как метроном, как счёт, как приказ.

В кармане лежал медальон. Тёплый. Живой. Восемь лет.

Восемь и он шёл. Восемь лет и он пошёл, совершил первый шаг по песку, который скрипел под ногами, как скрипит всё, что только начинается

Глава 2. Первые камни

Казарма рабов. Ночь.

Казарма пахла так, как пахнут только казармы, тюрьмы и вагоны-теплушки, то есть места, где люди спят не потому что хотят, а потому что больше некуда. Пахло потом, кислым хлебом, маслом, которым смазывали цепи, и чем-то ещё, тем самым запахом, который появляется, когда тридцать мужчин живут в одной комнате и каждый из них уверен, что именно он пахнет меньше всех.

Нары в два яруса, как в Тюмени в общежитии, только без телевизора в углу и без Михалыча, который храпел так, что соседи по комнате писали заявления в профком. Здесь храпел не Михалыч, а какой-то бритый великан на нижних нарах, который храпел не просто громко, а с оркестровой разнообразностью: то басом, то тенором, то вдруг переходя на такое сопрано, что Вася невольно думал, а не оперный ли это певец, которого сюда упекли за то, что он фальшивил в третьем акте.

Луна светила в узкое окно, то самое окно, через которое в Тюмени Вася смотрел на снег и думал, что снег это плохо. Теперь он смотрел на луну и думал, что снег, ещё ничего. Снег ощущается, что ты дома, а луна это когда ты не дома, и луна, вроде та же самая, что светит над Тюменью, и от этого ещё хуже, потому что получается, что ты не дома, но при

другой луне.

Вася лежал на верхних нарах, спиной к стене, и не спал. Под ним храпел великан, справа от него, какой-то худой, который всё время ворочался и шептал что-то на языке, которого Вася не знал, но который, судя по интонациям, был не молитвой, а ругательством. Слева пустые нары, и это было хорошо, потому что пустые нары — это когда ты один, а один, то можно подумать, а думать было о чём.

Восемь лет. Неправильный Колизей, какой то человек в пурпуре на трибуне. Плеть у секунда и медальон в кармане, такой тёплый, живой, как будто там, внутри, кто-то дышит.

Вася сунул руку в карман, он был там, где должен был быть карман набедренной повязки, что само по себе было чудом, потому что в Тюмени в плавках карманов не бывает, а здесь, почему-то бывает. Пальцы нащупали медальон, такой тёплый. Никола Угодник смотрел на него даже в темноте и Вася это чувствовал, хотя находился в полной темноте.

— Ты чего не спишь? — спросили снизу.

Голос был старый, хриплый, с такими хрипцами, какие бывают у людей, которые много лет курили что-то не то, или много лет кричали не на тех людей, или и то, и другое сразу.

— Считаю, — сказал Вася.

— Что считаешь.

— Дни.

— Дни тут не считаются, тут считается песок.

Пауза. Великан внизу перевернулся на другой бок, и его

храп сменился с баса на баритон, как будто оркестр перешёл к следующей части симфонии.

— А ты кто? — спросил Вася.

— Кто был, а теперь, то же, что и ты. Только старше.

— А был — кто?

— Был учителем в школе. Детей учил: грамматике, счёту, стихам. Теперь учу рабов. Контингент, впрочем, тот же, только слушают внимательнее.

Вася чуть не засмеялся, но не засмеялся, потому что смех в казарме ночью, это как смех на поминках, вроде уместно, но неловко.

— Меня зовут Вася, — сказал он.

— Знаю, тебя сегодня привели. Секунд ещё плетью грозил.

— Грозил.

— А потом не стал, это он делает редко. Значит, ты ему чем-то понравился или показался странным у него это одно и то же.

Пауза. Луна сдвинулась на пол-ладони по стене, где-то далеко лаяла собака или волк, или кто там лает в Риме ночью.

— А тебя как зовут? — спросил Вася.

— Тит. Просто Тит. Фамилий тут не носят. Фамилия, это когда ты свободный, а тут ты — номер. Только номера тоже нет, так что я просто Тит, как все.

— А сколько тебе лет, Тит?

— А кто их считает. Лет тут тоже не носят. Лет тридцать

назад я ещё помнил, сколько мне, а потом перестал. Потому что когда тебе за пятьдесят, а ты раб, то считать годы, это как считать деньги, когда ты банкрот. Бесполезно и обидно.

Вася помолчал, а потом спросил:

— Ты правда учил?

— Правда и тебя научу, если хочешь.

— Чему.

— Счёту.

— Я умею считать.

— Ты умеешь считать десятками, как все, а тут, на стройке, надо уметь считать до восьми и не просто до восьми, а по-особому, с левого края.

— Что значит — с левого края?

— А вот погоди.

Шуршание. Тит перелез с нижних нар, слишком ловко для старика, как перелезают люди, которые делали это тысячу раз и у которых тело помнит дорогу лучше, чем голова. Он сел рядом с Васей на верхних нарах, и Вася почувствовал, что от него пахнет пылью, старым маслом и чем-то ещё, тем самым запахом, который бывает у учителей, которые много лет писали мелом и у которых руки навсегда остались в этой пыли.

— Смотри, — сказал Тит. — У тебя есть десять пальцев. Десять, это когда ты свободный, когда ты считаешь деньги, дни, годы, когда ты считаешь, сколько тебе должны.

— А восемь?

— Восемь это когда ты раб. Восемь, это когда ты считаешь, сколько тебе осталось и считать надо не так, как считают свободные. Свободные считают с правого края. Потому что правый это действие. Левый это память, а рабу память важнее, чем действие. Потому что действие у него отнимут, а память нет.

Вася посмотрел на свои руки в темноте. Пальцев не видел, но чувствовал, их десять, как у всех.

— И как — с левого края?

— А вот так. Смотри.

Тит взял его руку — сухую, тёплую, с пальцами, которые, несмотря на старость, двигались точно, как у человека, который всю жизнь что-то перекладывал и начал перекладывать Васины пальцы с левого края, мизинца, по одному.

— Раз, — сказал Тит. — Это — мизинец. Память о доме. — Два. — Безымянный. Память о тех, кого любил. — Три. — Средний. Память о том, кем был. — Четыре. — Указательный. Память о том, что знал.

Пауза.

— А дальше?

— А дальше идет большой, это пять и это ты сам, тот, кто помнит!

— А шесть, семь, восемь?

— А это то, что ты сделаешь. То, что ты построишь. То, что останется, когда тебя не будет. Восемь это не конец, это когда ты уже стал частью того, что считаешь.

Вася молчал. Он не понимал до конца, но что-то внутри него, то, что было старше разума, понимало и принимало, как понимают вещи, которые не объясняются, а чувствуются. Как понимал он утром, на кухне, когда рисовал угол на салфетке, и угол сходился, и он знал: сойдётся и не сошёл.

— А зачем мне это? — спросил он.

— Затем, — сказал Тит, — что когда ты считаешь до восьми с левого края ты не раб. Ты тот, кто считает, а тот, кто считает, тот, кто держит ситуацию под контролем, а тот, кто держит тот, кто не падает. Даже когда падает всё вокруг.

Пауза. Великан внизу захрапел опять, теперь уже на двух голосах сразу, что было, видимо, высшим пилотажем. Сосед справа перестал ворочаться и задремал, и его ругательство оборвалось на полуслове, как обрываются все ругательства, когда человек засыпает.

— Держи, — сказал Тит.

И сунул Васе в руку что-то маленькое, тёплое, шершавое.

— Что это?

— Камень.

— Зачем.

— Чтобы помнил. Чтобы считал и держал.

Вася сжал камень в ладони. Он был маленький, как грецкий орех, и тёплый, как будто Тит носил его в руке много лет, и шершавый, как кожа старого человека.

— Откуда он у тебя?

— Был у меня. Один. Всё, что осталось от школы. От до-

ма. От всего. Теперь он у тебя.

— А тебе?

— А мне не нужен. Мне скоро не надо будет считать, а тебе надо.

Вася хотел возразить, но не возразил. Потому что понял. Тит прав, он из тех, кто всегда прав, даже когда говорит неправду. Потому что такие люди, как старые учителя, они не правы в словах. Они правы в том, что стоит за словами.

— Спасибо, — сказал Вася.

— Не благодари. Благодарят свободные, а тут просто держи, считай и не падай.

Тит опять ловко слез с нар, как человек, который знает, где ступать, потому что ступал тут тысячу раз и Вася услышал, как он укладывается на свои нары, и как скрипят доски, и как он вздыхает один раз, коротко, как вздыхают люди, которые сделали то, что должны, и теперь могут спать.

А Вася лежал и держал камень в ладони и медальон в кармане. Он считал уже с левого края.

Раз. Два. Три. Четыре. Пять. И на пяти — остановился. Потому что на пяти — был он сам, тот, кто помнит, а дальше — он не знал. Дальше — он построит или не построит. Или построит — но не то. Или построит — но не здесь.

Но камень — держал и медальон — грел. И где-то там, впереди, за песком, за солнцем, за пурпуром на трибуне, — было восемь и восемь — ждало. Камень остался в ладони — тёплый, шершавый, живой, как первая вещь, которую он по-

настоящему держал в этом мире.

Карьер. День.

Карьер находился в получасе ходьбы от площадки, если идти быстро, и в двух часах, если идти так, как идут рабы — то есть с видом, будто каждый шаг им записывают в особую тетрадь, а в конце месяца по этой тетради выдают дополнительную порцию побоев. Пыль в карьере стояла такая, что солнце было не солнцем, а белым пятном на небе, и по этому пятну можно было только догадываться, что где-то там, за пылью, существует мир, в котором люди ходят в туниках и не кашляют кровью.

Звон зубил был такой, будто кто-то взял тысячу маленьких колокольчиков и решил сыграть на них не мелодию, а просто, всё сразу, во всех тональностях, включая те, которых в природе не существует. Каменотёсы стояли в пыли по пояс, как рыбы, которые по ошибке заплыли не в воду, а в камень, и били, кто молотком, кто кувалдой, а кто, судя по всему, просто держал зубило и молился всем богам сразу, включая тех, которых ещё не придумали.

Васю привели вместе с другими, человек десять, таких же новых, с глазами, которые ещё не привыкли к пыли и потому моргали чаще, чем следовало по технике безопасности, которой тут, впрочем, не существовало, если не считать техникой безопасности саму плетть секунда.

Секунд сдал их старшему по карьеру — здоровенному мужику с шеей, как у быка, и с лицом, которое, видимо, ко-

гда-то было лицом, а теперь стало просто поверхностью, на которой оседала пыль, как оседает пыль на бюсте, который давно никто не протирал.

— Новые, — сказал секунда. — Учи как надо работать.

— Всех? — спросил старший.

— Кого получится. Остальных — похорони.

Старший кивнул, как кивают люди, которые слышали это уже столько раз, что кивок стал рефлексом, как моргание или как чесание там, где чешется, даже если не чешется и разогнал новых по участкам, кого к блокам, кого к отбойным молоткам (которые тут были не молотками, а просто тяжёлыми кувалдами, но назывались молотками из уважения к труду, потому что труд тут уважали все, особенно тот, который был чужой), а Васю к Апулею.

Апулей стоял у стены камня — не у той стены, которая была карьером, а у той, которая была уже отёсанным блоком, готовым к перевозке. Он стоял так, как стоят люди, которые знают, что камень, он не торопится, и торопиться нечего, потому что камень ждал их дольше, чем они его, и теперь, когда они наконец встретились, спешить было уже некуда.

Руки у него, как корни дуба, которые вывернуло наружу, толстые, узловатые, с пальцами, которые, казалось, помнили не только камень, но и то время, когда этот камень был ещё на дне моря, и море было тёплым, и в море плавали рыбы, которых теперь уже никто не помнит, кроме камня и Апулея.

— Новенький, — сказал старший. — Учи давай.

Апулей пристально посмотрел на Васю, так смотрят на вещь, которую принесли в мастерскую и не знают сразу, то ли это то, что нужно, то ли это то, что придётся выбросить, а выбрасывать жалко, потому что вещь хорошая, только сгодится не сюда.

— Руки покажи, — сказал он наконец.

Вася протянул руки. Апулей взял его ладонь в свою, огромную, тёплую, с мозолями, которые были толще, чем кожа у Васи на локтях, и которые, видимо, толще, чем кожа у большинства людей на всём теле. Повернул. Посмотрел на мозоли, на те, что с тюменской стройки, с пятнадцати лет высоты и бетона, и которые теперь, в Риме, выглядели так, будто Вася не на стройке работал, а на войне, и война эта была не с людьми, а с железом.

— Ты не новичок на стройке, — сказал Апулей.

— Новичок здесь.

— Руки твои старые и опытные.

— Руки мои, - ответил Вася, размышляя, что же от него хотят.

Апулей кивнул, как кивают люди, которые поняли что-то, но говорить об этом не будут, потому что нечего говорить, а что есть — то есть, и это видно по рукам, и по глазам, и по тому, как человек стоит, не как новый, а как тот, кто уже стоял где-то раньше, и стоял долго, и стоял не зря.

— Бери зубило.

Зубило лежало на камне, тяжёлое, с рукоятью, которая

была тёмной от пота и масла, и от этого потемнения было видно, что рукоять эту держали сотни рук, и каждая оставила свой след, как оставляют следы на перилах лестницы те, кто поднимается и спускается каждый день, и перила помнят их всех, даже тех, кого уже нет.

Вася взял зубило. Оно массивное, не такое тяжело, как балка, но тяжелое так, как тяжело было то, к чему ты не привык, и что требует не силы, а умения, а умения здесь у него пока не было, была только сила, и сила эта была не та, и он это знал.

— Покажи, как бить, — сказал Вася.

Апулей посмотрел на него с тем же выражением, с каким смотрят на человека, который задал глупый вопрос, но вопрос этот, его собственный, и глупее он не станет от того, что его задали, а умнее тоже, потому что умнее становятся от ответов, а не от вопросов.

— Смотри на меня.

Апулей взял своё зубило, такое же, но рукоять у него была светлее, видимо, он менял его не так часто, или, может быть, у него было два, и это было второе, запасное, на случай, если первое сломается, а первое у Апулея, видимо, не ломалось, потому что Апулей бил правильно, а правильное зубило не ломается, как правильный человек не ломается, пока его не сломают.

Он приставил зубило к камню, не под прямым углом, а чуть наискосок, и ударил, но не сильно, так, как бьют не для

того, чтобы разбить, а для того, чтобы отколоть, и отколоть именно правильно, а не как попало. Звук был короткий, сухой не «дзынь», как по металлу, а «тук», как по дереву, которое, впрочем, тоже бывает разным, и одно дерево - звенит, а другое — молчит, и надо знать, какое именно.

От камня отлетела стружка — не крошка, а тонкий, ровный слой, как если бы камень был не камнем, а книгой, у которой оторвали страницу, и страница эта была именно та, которую и надо было оторвать, а не другая.

— Видишь, — сказал Апулей.

— Вижу.

— Не со зла, с уважением надо бить. Камень он живой.

— Камень живой?

— А ты думал, что нет?

Вася подумал. Он думал, что камень, это просто камень, то есть мёртвое, твёрдое, холодное, и что живое, это люди, животные, растения, а камень нет, но тут, в карьере, в пыли, в этом звоне, который был не звоном, а музыкой, он не был так уверен.

— Посмотри, — сказал Апулей.

И провёл рукой по блоку, медленно, как гладят животное, которое не знает, укусишь ты его или покормишь, и которое поэтому напряглось, но не убежало, потому что убежать не может, а может только ждать.

— Видишь — прожилки? Это его память. Видишь скол здесь? Это его рана. Видишь вот тут, где светлее? Это его

сердце и бить надо не по сердцу и не по ране, а туда, где он сам хочет, чтобы его били.

— А как узнать, где он хочет?

Апулей посмотрел на него и в его глазах было что-то, что Вася узнал. Это было то самое выражение, которое бывает у людей, которые знают ответ, но ответ этот — не для слов, а для руки, и рука узнает его раньше, чем голова.

— А это когда научишься. Сейчас ты не знаешь и я не знаю. Никто не знает, но бьём — всё равно. Потому что камень он ждёт.

— Чего ждёт?

— Того, кто его найдёт, кто его услышит, кто его отпустит.

Пауза. Где-то далеко звенели зубила, словно тысяча маленьких колокольчиков, которые играли не мелодию, а просто и всё сразу.

— А ты сам откуда? — спросил Апулей.

— Издалека.

— Все оттуда, а конкретно?

— Из-под балки.

Апулей посмотрел на него и в его глазах было что-то, что Вася узнал. Это было то самое выражение, с которым смотрят на человека, который сказал то, что не надо говорить, но сказал и хорошо, потому что теперь можно не спрашивать, и можно работать, и можно понимать друг друга без слов.

— Понятно, — сказал Апулей. — Бей давай.

Вася приставил зубило. Ударил, но не так, как Апулей, а

слишком сильно, и слишком прямо, и с таким видом, будто камень его враг, и он хочет его победить, а не отколоть от него кусок. Камень не откололся, только крошка посыпалась, и зубило соскользнуло, чуть не ударив Васю по руке, и если бы ударило, было бы плохо, потому что рука нужна, а без руки не побьёшь.

— Не так, — сказал Апулей.

— Вижу.

— Смотри ещё раз.

Апулей ударил опять и ещё раз и ещё. Вася смотрел не на руку, не на зубило, а на то, как камень принимает удар, как он подаётся, как от него отлетает стружка, и в этом была какая-то своя логика, которую можно было понять не умом, а рукой, и рука — понимала, только медленно, и Вася терпел, потому что терпение, это то, чему учат в карьере раньше, чем всему остальному.

Он ударил опять, на этот раз уже лучше. Каменная стружка отлетела ровная, тонкая. Апулей кивнул, не сказал ничего, но кивнул, и этого было достаточно, потому что Апулей не был из тех, кто хвалит зря, а зря он не хвалил никогда, и это Вася понял сразу.

Они работали до полдня. Потом на обед: хлеб, оливки, вода. Роскошь, когда оливки не горькие, а сегодня не горькие, и Вася думал, что, может быть, это и есть счастье, когда оливки не горькие, и ты сидишь в тени камня, и солнце не жжёт, и рядом человек, который не говорит лишнего, а

в Тюмени таким человеком был Михалыч, только Михалыч говорил лишнего много, а Апулей — мало, и от этого Апулей был лучше, или, по крайней мере, тише.

— Ты хорошо бьёшь, — сказал Апулей. — Для первого дня.

— Спасибо.

— Не за что. Я не хвалил. Я просто сказал, как есть.

Пауза. Вася жевал чёрствый, но съедобный хлеб, и думал, что хлеб в Тюмени был мягче, но и там он не был вкусным, потому что вкусный хлеб, это когда ты его сам испёк, а испёк его никто, и поэтому хлеб везде одинаковый — никакой, и в Тюмени никакой, и в Риме никакой, и разница только в том, что в Тюмени он был мягче, а в Риме — твёрже, и от этого в Риме его можно было использовать не только по назначению, но и как оружие, и как инструмент, и как подарок, и как всё, что угодно, кроме хлеба.

— А ты давно здесь? — спросил Вася.

— Давно.

— Сколько?

— Не считаю. Считать плохо, когда считаешь, то кажется, что время идёт, а оно — не идёт. Оно — стоит и ты — стоишь и камень — стоит. Только когда перестаёшь считать то понимаешь, что всё движется. Просто очень медленно.

Вася кивнул. Он понимал, не словами, а тем, что было внутри, и что было старше слов, и что в Тюмени называлось «опыт», а здесь, видимо, называлось как-то иначе, или не на-

зывалось никак, потому что названия для свободных, а рабам, не до названий.

— А зубило — твоё? — спросил он.

— Моё.

— Давно?

— Всегда. Оно со мной. С тех пор, как я сюда попал. Мне его дал, тот, кто был до тебя. Последний, кто стоял здесь. Он умер, а зубило, оно осталось.

— И тебе дал?

— Да. Сказал держи. Я и держу. Теперь передам тебе.

— Зачем?

— Потому что пора.

Вася посмотрел на него. Апулей смотрел в сторону, на карьер, на пыль, на солнце, которое было белым пятном и Вася понял: Апулей не шутит, он из тех, кто не шутит, и кто говорит то, что говорит, и не больше, и не меньше, и кто не объясняет, потому что объяснение, это для тех, кто не понял, а Вася сразу понял.

— Держи, — сказал Апулей.

И внезапно, бросил ему зубило, не так, как бросают вещь, которую жалко, а так, как бросают вещь, которую передают, с расчётом, чтобы тот, кто ловит, поймал не зубило, а то, что за зубилом, и что было важнее зубила, и что называлось, как-то иначе, чем «зубило», и что, может быть, вообще не называлось, а просто было.

Вася поймал. Не подумав. Не рассчитав. Рука сама вышла

вперёд и пальцы сомкнулись на рукояти так, будто эта рукоять была сделана под его руку, и только под его, и больше ни под чью, и будто все те руки, которые держали её до него, — держали её для того, чтобы теперь он.

Апулей посмотрел на него и в его глазах было что-то, что Вася узнал. Это было то самое выражение, с которым смотрят на человека, который сделал то, что должен был, хотя и не знал, что должен, и который поймал не зубило, а то, что за зубилом, и кто не подвёл.

— Хорошо, — сказал Апулей.

— Что — хорошо?

— Что поймал, не все ловят. Некоторые роняют, а некоторые и не тянутся.

Пауза. Где-то далеко звенели зубила, как тысяча маленьких колокольчиков, которые играли не мелодию, а просто всё и сразу.

— Камень живой, — сказал Апулей. — И зубило тоже живое, рука она живая и когда всё живое, то вместе, тогда и получается.

— Что получается?

— А это, когда научишься.

Вася посмотрел на зубило в своей руке. На рукоять, которая теперь была его. На лезвие, которое блестело на солнце, тускло, но блестело, и в этом блеске было что-то, что было не блеском, а обещанием.

И подумал: вот оно. Вот, то, ради чего я здесь, не свобода,

не восемь лет, не Колизей, а это зубило в руке, камень перед глазами и человек рядом, который не говорит лишнего. Он понял, что камень живой и зубило живое и рука она живая и когда всё живое вместе, только тогда и получается.

Стена Колизея. День.

Площадка, где клали камни, была не просто площадкой, а местом, где люди и камни делали вид, что им друг с другом по пути, на самом деле ни те, ни другие в этом не были уверены, но оба вида притворства требовали такого напряжения, что к обеду все были одинаково уставшими и люди, и камни.

Вася стоял у стены, у той самой, которая должна была стать частью Колизея, и которая пока была похожа на Колизей так же, как бутерброд похож на обед: вроде то же самое, только меньше и без всего.

Рядом с ним работал раб по имени Гай, но все звали его Кривой, не потому что у него был кривой нос или кривые ноги, а потому что он всё делал криво. Камень клал криво. Раствор мазал криво. Даже спал, говорят, криво, хотя спать на площадке никто не спал, не полагалось. Кривой был из тех людей, которые рождаются с внутренним уровнем, настроенным на «чуть-чуть не так», и сколько их ни учи, они всё равно сделают по-своему.

— Держи, — сказал Кривой и сунул Васе камень.

Камень был тяжёлый, не тонна восемьсот, конечно, но тяжёлый так, как тяжёлы вещи, которые должны лежать на сво-

ём месте, а не в твоих руках. Вася взял его и понял, что сейчас положит и положит ровно, потому что он прораб. Пятнадцать лет. Он знает, как класть.

Он положил и посмотрел.

Камень лежал криво, не чуть-чуть криво, а так криво, что если бы это была не стена, а картина, то она бы висела в музее с табличкой «Школа начинающего мастера, третий класс».

— Не так, — сказал Кривой.

— Вижу.

— Переделай.

Вася переделал. На этот раз стало лучше. Камень лежал ровнее, но всё равно не так, как надо, потому что «как надо», это когда камень лежит так, будто он всегда тут лежал, и никогда не думал лежать где-то ещё, а Вася положил его так, будто камень только что приехал из командировки и ещё не разобрал вещи.

— Снова, — сказал Кривой.

Вася положил снова и снова, почему-то, не так. И снова. И снова. На пятый раз — получилось. Не идеально, но так, что камень лежал, как должен лежать камень, который знает своё место и не собирается его менять.

— Нормально, — сказал Кривой. — Для первого раза.

— Спасибо.

— Не за что. Я не хвалил. Я сказал, что нормально. Нормально, это не хорошо. Хорошо, это когда ты сам не видишь, где камень, а нормально, это когда видишь, но тебе всё рав-

но.

Пауза, где-то далеко ровно стучали молотки, как метроном у дирижёра, который дирижирует не симфонией, а чужой жизнью.

Вася посмотрел вокруг. Площадка была большая, на человек шестьдесят, и каждый делал своё. Одни таскали камни, от телег к стене, по доскам, которые скрипели так, будто им было больно. Другие месили раствор ногами, в больших корытах, и от этого зрелища было такое ощущение, будто ты попал в винный погреб, только вместо вина - известь, и вместо пьяных — рабы. Третьи резали камень — зубилом, молотком, с таким видом, будто камень — это не камень, а враг, которого надо победить.

И все стучали, сливаясь в одном ритме.

Вася прислушался. Тук. Тук. Тук. Пауза. Тук. Тук. Тук. Пауза и так продолжалось без конца, как будто вся площадка была одним большим механизмом, в котором каждая деталь знает своё место, и не думает, почему она тут, а не там, и не думает, что будет, когда механизм остановится.

— А ритм? — спросил он Кривого. — Почему все бьют в одном ритме?

Кривой посмотрел на него, так смотрят на человека, который задал вопрос, на который все знают ответ, но никто не говорит, потому что ответ — простой, а простые ответы — они как простые вещи: их не замечаешь, пока не потеряешь.

— Потому что так легче, — сказал Кривой.

— Что легче?

— Жить. Когда ты бьёшь в ритме, то ты не думаешь, а когда не думаешь, то не болит, а когда не болит, то кажется, что ты живёшь, а не... вот это вот всё.

Вася посмотрел на свою руку, на мозоли, на песок под ногтями, на трещину на ладони, которая появилась сегодня утром и которая, видимо, появится и завтра, и послезавтра, и так, до бесконечности, или до тех пор, пока не кончится рука.

— А как получается ритм? — спросил он.

— Восемь ударов. Пауза. Восемь ударов. Пауза и так весь день.

— Почему восемь?

— Потому что восемь, а не десять, а не пять, а восемь.

— А почему не десять?

Кривой посмотрел на него с тем выражением, с которым смотрят на человека, который спрашивает, почему вода мокрая, или почему солнце горячее, или почему рабы это рабы.

— Потому что десять — это когда ты свободный, а восемь, это когда ты раб, а ты — раб. Значит — восемь.

Вася молчал. Он не понимал до конца, но что-то внутри него, то, что было старше разума, понимало, как понимал он утром, на кухне, когда рисовал угол на салфетке, и угол сходился, и он знал: сойдётся и не сошёл.

— Давай, — сказал Кривой. — Бей.

Вася взял молоток — тяжёлый, с рукоятью, которая была

тёмной от пота и масла, и от этого потемнения было видно, что рукоять эту держали сотни рук, и каждая оставила свой след.

Он ударил.

Раз.

Пауза.

Два.

Пауза.

Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь.

Пауза.

И снова.

Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь.

Пауза.

И вновь ударял.

Рука работала сама, не потому что устала, а потому что ритм был такой, что рука не могла не работать, как не может не работать сердце, которое бьётся, потому что оно — сердце, и оно — бьётся, и оно не думает, почему, а просто стучит.

Вася бил и считал. Он считал с левого края, как учил Тит и от этого счёт был не счётом, а песней, которую пели не губы, а рука и камень, молоток и воздух, который был между ними.

Где-то далеко стучали другие молотки и все стучали в одном ритме, и от этого звука было такое ощущение, будто вся площадка, это один большой механизм, в котором каждая деталь знает своё место, и не думает, почему она тут, а не там, и не думает, что будет, когда механизм остановится.

Кривой работал рядом — молча, в своём ритме, который, как ни странно, совпадал с ритмом Васи и Вася подумал: может быть, Кривой и не кривой. Может быть, он просто делает всё по-своему, и это «по-своему» и есть ритм, просто другой.

Секунд прошёл мимо не остановился, не посмотрел, только кивнул, как кивают люди, которые увидели то, что хотели увидеть, и теперь могут идти дальше, потому что дальше, тоже есть то, что они хотят увидеть.

А Вася бил и считал. Он до восьми и на восьми останавливался, затем начинал снова.

И думал: вот оно, то, ради чего тружусь, не свобода, не восемь лет, не Колизей, а это: Молоток в руке; Камень перед глазами и ритм, который кратен восьми.

И снова слышалось:

Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь.

Пауза.

И снова, а где-то далеко, на верхних нарах, в казарме, в ночи — Тит кивнул, не потому что видел, а потому что знал, что Вася понял, что Вася считает, что Вася он держит и этого было достаточно.

Потому что когда один считает, и другой знает, что он считает, и третий кивает, потому что знает, что они оба считают, — тогда все и получается. То, что получается. То, что держит. То, что кратно восьми.

И ритм пошёл: восемь ударов, пауза, восемь ударов, пауза и в этом ритме была та самая мера, которая отделяет работу

от жизни.

Площадка. Вечер. Закат.

Закатное солнце было не солнцем, а чем-то вроде последнего вздоха перед ночью — красным, густым, таким, что тени от камней ложились на землю длинными чёрными пальцами, и казалось, что сами камни тянутся к небу, чтобы ухватиться за него и не упасть в ночь.

Площадка гудела, не так, как гудит стройка в Тюмени, где гудение, это звук ста пятидесяти человек, которые одновременно матерятся, пьют чай и спорят, кто будет дежурить по бытовке. Здесь гудение было другим, это был звук двухсот человек, которые работают молча, потому что за разговор здесь бьют, и от этого гудение было страшнее, потому что в нём была не усталость, а покорность, а покорность, она всегда громче, чем бунт.

Вася клал камень, уже шестой за сегодня, или седьмой, он уже сбился со счёта, потому что считать после восьми, это как считать деньги после зарплаты: вроде есть, а вроде и нет.

И тут возникли патриции.

Они появились на площадке так, как появляются заказчики на любой стройке: сначала — тишина, потом — шёпот, потом — все делают вид, что работают ещё усерднее, хотя усерднее уже некуда, потому что усердие, оно как совесть: есть предел, за которым оно становится незаметным.

Патрициев было четверо. Они шли по площадке так, как ходят люди, которые уверены, что земля под ними — их соб-

ственность. Что, в общем, было правдой. Земля — была их. И рабы — были их. И камни — были их. И солнце, которое сейчас садилось, — тоже, видимо, было их, только солнце об этом не знало, а если бы знало — не возражало бы, потому что солнце — оно вообще не возражает, оно просто светит, и кому светит — не его дело.

Первым шёл Флакк. Вася узнал его сразу, по тому пурпуру, полученному из моллюсков. Тот самый, что стоял на трибуне в первый день, что смотрел на него так, как смотрят на муравья, который заблудился. Флакк был не старый и не молодой — он был такой, каким бывают люди, которые давно перестали считать годы, потому что годы, это для тех, у кого они есть, а у Флакка их не было, у него было только то, что он построил, и то, что он построи́т.

Рядом с ним шел Марк. Молодой, злой, с красной каймой на тунике, которая была такой широкой, что казалось — Марк не носит тунику, а носит кайму, а туника, это просто повод для каймы. Марк смотрел на рабов так, как смотрят на мебель — мебель она и есть мебель, только иногда мешает пройти, и тогда её передвигают, и мебель не обижается, потому что мебель не знает, что она мебель, а если бы знала — обиделась бы, но не сильно, потому что мебель, она и есть мебель.

За ними грациозно плыла Ливия. Дочь Флакка. Вася узнал её по белой столе — белой, как снег в Тюмени, только снег в Тюмени был мокрым, а эта стола была сухой, и от этого

белой вдвойне. Волосы у неё были собраны в узел, но прядь выбилась, тонкая, мокрая от пота, потому что даже патрицианки потеют, только они делают это так, будто не потеют, а просто слегка увлажняются от возвышенных мыслей. Ливия шла и смотрела не на камни, не на стену, не на Флакка, а куда-то в сторону, как смотрят люди, которые видят то, чего не видят другие, и не знают, что с этим делать.

Последним шёл Секст. Вася не знал его имени, узнал позже, но запомнил сразу, со свитком в руке, с чернилами на пальцах, и чернила эти были не на пальцах, а въелись в пальцы, как въедается совесть в того, кто её предал. Секст считал камни с таким видом, будто камни ему должны, и он сейчас пересчитает, и если не сойдётся, то кто-то обязательно ответит.

Флакк остановился у стены, у той самой, которую клал Вася. Посмотрел на камни. Долго. Так смотрят на вещь, которую купили дорого, и теперь проверяют, не обманули ли.

— Восемь лет, — сказал Флакк. Голос у него был не громкий, но такой, что его слышали все, потому что когда говорит патриций, все слышат, даже те, кто делает вид, что не слышит.

— Успеем, — сказал Марк. Голос у него был другой — молодой, злой, с таким оттенком, каким говорят люди, которые уверены, что знают лучше, и которым ещё не доказали обратное.

— Не знаю, — сказал Флакк. — Время не раб, его не уско-

ришь побоями.

Марк промолчал. Он был из тех, кто молчит, когда не знает, что ответить, и из тех, кто не признаёт, что не знает, потому что признать, это значит проиграть, а проиграть, значит перестать быть Марком.

Секст подошёл к стене со свитком и с чернилами. Посмотрел на камни, потом на свиток, потом посмотрел опять на камни и что-то коротко и точно записал, как записывают люди, которые знают, что каждая ошибка в записи, это чья-то сломанная спина.

А Ливия смотрела, не на стену, не на Флакка, не на Марка, а на Васю.

Тот почувствовал это сразу, не глазами, а спиной, потому что когда на тебя смотрят так, как смотрела Ливия, это чувствуется спиной раньше, чем глазами, это был не взгляд патрицианки на раба, это был взгляд человека на человека, а такое в Риме случалось редко, как случается снег в Тюмени летом: вроде возможно, но не принято.

Вася опустил глаза, не от страха, а от понимания. Потому что когда на тебя смотрит дочь Флакка, а ты — раб, и ты поднимаешь глаза, это значит одно: ты забыл, кто ты, а когда ты опускаешь глаза — это значит другое, что ты помнишь и это — безопаснее.

Но спина Василия продолжала чувствовать взгляд и Вася понял, что Ливия не отводит глаз. Ливия — смотрит и смотрит не на раба, а на того, кто кладёт камни так, будто он про-

раб. На того, кто считает до восьми с левого края. На того, кто — не знает, откуда он, но который здесь.

Флакк повернулся. Посмотрел на рабов, на всех сразу, как смотрят на стадо, которое пасут не для того, чтобы любить, а для того, чтобы резать.

— Восемь лет, — повторил он. — Не больше, кто не построит тот умрёт. Кто построит — тоже умрёт, но позже и по другому.

И пошёл прочь, за ним — Марк, а Марком — Секст, а Ливия — осталась.

На секунду. На две. На три и смотрела на Васю и он чувствовал, что она видит, не то, что он раб, а то, что он не раб, что он тот, кто упал с балки, кто считал до восьми в реанимации, кто пришёл из пустоты, кто не знает, зачем, но который здесь.

И потом тихо ушла, как уходят люди, которые увидели то, что хотели увидеть, и теперь не знают, что с этим делать.

А Вася стоял у стены и клал камень, уже седьмой или восьмой. Он уже не считал. Потому что когда на тебя смотрит дочь Флакка, счёт сбивается, как сбивается счёт, когда ты думаешь не о том, о чём должен думать, а думать он должен был о камне. О стене, о восьми годах.

Но думал он и о взгляде. О белой столе. О пряди, которая выбилась из узла. О том, что она увидела и не отвела глаз.

Этого было достаточно. Потому что когда один — смотрит, и другой — чувствует, что на него смотрят, и третий —

знает, что они оба — видят, — тогда и получается. То, что получается, то, что — держит, то, что — восемь.

Восемь лет и он смотрел на стену, и на Ливию, которая уходила, и на пурпур, который уже не был пурпуром, а был приговором, его приговором.

Глава 3. Долг

Казарма. Ночь. Хлеб.

Ночь в казарме была не ночью, а состоянием, при котором тридцать человек лежат в одной комнате и каждый из них делает вид, что спит, а на самом деле размышляет. Думают о разном: кто о доме, кто о матери, кто о том, что завтра опять таскать камни, а кто то о том, что если не уснуть прямо сейчас, то завтра уснёшь на работе, а на работе спать, это как спать на стройке, вроде удобно, но недолго.

Вася лежал на верхних нарах и не спал. Под ним вновь храпел великан, сегодня уже басом, видимо, вчера он перешёл на баритон, а к ночи решил вернуться к истокам. Справа ворочался худой, тот самый, что шептал ругательства на неизвестном языке. Тит спал на нижних нарах, тихо и аккуратно, как спят люди, которые всю жизнь учили других и теперь научились спать так, чтобы не мешать.

Луна светила в узкое окно, то самое, через которое в Тюмени Вася смотрел на снег. Теперь он смотрел на луну и думал: луна — та же, а он уже не тот и от этого было не грустно, а как-то иначе, как бывает, когда теряешь не вещь, а представление о себе, и новое представление ещё не сложилось, а старое, уже не работает.

В кармане лежал медальон. Тёплый, как всегда и камень рядом, тоже тёплый, только камень от руки, а медальон, сам

по себе и Вася думал: странно. Медальон металлический, а металл он должен быть холодный, а этот тёплый, как будто внутри него кто-то дышит или помнит.

И тут раздался шорох, не храп и не ворочание, а именно тихий, осторожный шорох, как шорох человека, который не хочет, чтобы его слышали, но и не хочет, чтобы его не заметили. Шорох явно женский, потому что мужчины шуршат иначе, как то тяжелее, увереннее, как шуршат люди, которые имеют право шуршать.

Вася приподнялся на локте.

У двери стояла женщина. В простой тёмной столе, не белой, как днём, а такой, в какой ходят, когда не хотят, чтобы их узнали. Капюшон на голове, но прядь выбилась, та самая, тонкая, мокрая, которая днём выбивалась из узла. Лицо в тени, но Вася узнал, не по лицу, а по тому, как она стояла, как стоят люди, которые пришли не за тем, за чем пришли, а за тем, в чём не могут себе признаться.

Ливия.

Она не сразу вошла. Сначала посмотрела, на спящих, на луну, на Васю, на того, кто не спал и только потом сделала шаг.

Великан внизу захрапел громче, как будто почувствовал, что в казарме что-то изменилось, и решил это изменение заглушить. Худой справа перестал ворочаться и затих, так затихают люди, которые поняли, что происходит что-то, чего им видеть не следует.

Ливия подошла к нарам Васи. Остановилась и посмотрела на него снизу вверх, потому что Вася сидел, а она стояла.

— Ты не спишь, — сказала она. Не спросила. Утверждала, как утверждают люди, которые привыкли, что их слова не вопрос, а констатация.

— Нет, — сказал Вася.

— Почему.

— Не хочется.

Пауза. Луна сдвинулась на пол-ладони по стене. Где-то далеко лаяла собака или крякали гуси, или кто там шумит в Риме ночью, когда патрицианки приходят к рабам.

— Я принесла, — сказала Ливия.

И протянула ему что-то, завёрнутое в ткань. Ткань была тонкая, белая, с вышивкой, видимо, какая-то там была вышивка, патрицианская, с вензелями и прочими вещами, которые в Тюмени вышивают только на скатертях, которые стелят только по праздникам.

Вася взял. Тяжёлое. Тёплое и пахло тимьяном, такой травой, которая в Тюмени не растёт, но которую Вася знал по запаху, потому что мать добавляла его в суп, и суп от этого пах не супом, а чем-то таким, что потом вспоминается всю жизнь, даже когда супа уже давно нет.

— Что это? — спросил он.

— Хлеб.

— Зачем.

Ливия посмотрела на него. Долго. Так смотрят на челове-

ка, который задал вопрос, на который она не готова ответить, потому что ответ — не для слов, а для чего-то другого.

— Потому что ты не ешь, — сказала она наконец.

— Откуда знаешь.

— Потому что я смотрю.

Вася молчал. Он разворачивал ткань медленно, как разворачивают вещи, которые боятся развернуть, потому что если развернёшь, то придётся съесть, а если съешь — придётся признать, что ты голоден, а если признаешь, то придётся признать и остальное.

Хлеб тёплый, круглый, с корочкой, которая была не корочкой, а чем-то вроде панциря, под которым пряталось всё то, что делает хлеб хлебом: мука, вода, соль, руки, которые его месили, огонь, который его пёк, и ещё что-то, то, что нельзя купить, а можно только дать.

— Это твой хлеб? — спросил Вася.

— Наш, с виллы отца.

— А почему мне?

Ливия снова посмотрела на него и в её глазах было что-то, что Вася узнал. Это было то самое выражение, с которым смотрят на человека, который задаёт вопросы, на которые нет ответов, но которые всё равно надо задать, потому что если не задать — придётся жить с тем, что не задал.

— Потому что ты — другой, — сказала она.

— Чем.

— Не знаю, но другой, я почувствовала.

Пауза. Великан внизу перевернулся на другой бок, и его храп сменился с баса на что-то среднее между басом и тенором, что было, видимо, высшим пилотажем казарменного храпа.

— Патрицианки не приходят к рабам, — сказал Вася.

— Знаю.

— А ты пришла.

— Знаю.

— Почему.

Ливия молчала. Долго, так молчат люди, которые знают ответ, но ответ этот, не для раба, а потом сказала:

— Потому что мне скучно.

Вася посмотрел на неё и понял, что она врёт, не потому что плохая лгунья, а потому что патрицианки не умеют врать рабам им просто не приходило в голову, что раб может заметить ложь.

— Ладно, — сказал он. — Пусть тебе скучно.

Он отломил кусок хлеба и съел.

Хлеб был очень хороший, не такой, как в Тюмени, где хлеб, это просто способ не умереть с голоду до обеда, а такой, который едят не для того, чтобы наесться, а для того, чтобы вспомнить, что ты живой.

— Вкусно? — спросила Ливия.

— Да.

— А у нас любят его есть с мёдом.

— Здесь нет мёда.

— Я принесу.

— Зачем.

Ливия снова посмотрела на него и снова молчала, а потом сказала:

— А ты спросишь.

И Вася понял: она пришла не за тем, чтобы принести хлеб. Она пришла за тем, чтобы он спросил, а она ответила, а потом пришла ещё и ещё, и так, пока не кончится то, за чем она пришла, а за чем она пришла, он не знал, но чувствовал, что причина не скука, а что-то другое, что бывает у людей, которые увидели то, чего не должны были видеть, и теперь не могут забыть.

— Спасибо, — сказал он.

— Не благодари, у нас благодарят свободные.

— А я, по твоему, кто?

— А ты тот, кто ест хлеб.

Она впервые улыбнулась и улыбка у неё была не похожа на улыбку. Скорее то, что бывает у человека, который вспомнил что-то хорошее и не хочет, чтобы это хорошее кончилось.

— Я приду ещё, — сказала она.

— Когда.

— Когда смогу.

— А когда сможешь?

— Когда отец не будет смотреть.

— А он смотрит?

— Всегда. Патриции, они всегда смотрят, даже когда спят.

Она повернулась и пошла к двери, так же тихо, как пришла. Ткань зашуршала — тихо, как шуршит бумага, когда её складывают в конверт, который потом запечатывают воском, а Вася сидел и медленно ел хлеб, как едят люди, которые знают: этот хлеб — не последний, но и не первый из тех, что она принесёт.

В кармане его медальон стал горячее, не совсем горячий, а просто горячее, как будто он услышал, что сказала Ливия, и отозвался.

Вася подумал: странно. Медальон металлический, а металл он не слышит, а этот — слышит и отзывается, или это не медальон отзывается? Это он сам, тот, кто внутри него, кто помнит, кто ещё не знает, что он помнит, но уже чувствует.

Хлеб был тёплый, как рука матери, как воспоминание о доме, как то, что нельзя купить ни за какие деньги, но что можно просто дать.

Площадка. Ночь. Клятва.

Ночь на строительной площадке была не ночью, а тем временем, когда камни перестают притворяться, что они камни, и становятся тем, чем они были до того, как их откололи от горы, а именно, просто тишиной, которая умеет держать вес.

Вася сидел у стены у той самой, которую клал днём. Спина прислонена к камню. Камень тёплый, он днём нагрелся от солнца и теперь отдавал тепло медленно, как отдают долги хорошие люди, не сразу, но точно.

Он не знал, зачем пришёл сюда. Пришёл и всё, как при-

ходят люди, которые не знают, чего хотят, но знают, что если не придут, то будет хуже, чем если придут.

И тут возникла она.

Ливия вышла из тени колонны, той самой, которую Вася клал вчера, и которую теперь, при лунном свете, не узнал бы даже тот, кто её клал, потому что ночью все камни одинаковые, как одинаковы все лица в темноте, пока не заговоришь.

В руке у неё горела свеча. Маленькая, тонкая, с фитилём, который горел не ровно, а подрагивал, как подрагивает голос у человека, который говорит то, чего говорить не должен.

— Ты пришёл, — сказала она.

— Пришёл.

— Почему.

Вася пожал плечами. Жест, который в Тюмени означал «сам не знаю, Михалыч, спроси у прораба», а здесь, в Риме, означал то же самое, только вместо Михалыча — Ливия.

— Не знаю, — сказал он.

— Я тоже, — сказала Ливия.

И села рядом, не близко, а на расстоянии, где ещё можно сделать вид, что вы не вместе, но и не далеко, на расстоянии, где уже слышно, как другой дышит.

Свечу она поставила между ними на камень, на тот самый, который Вася клал вчера. Воск капнул на камень и застыл сразу, как застывают решения, которые принимаются не подумав.

— Что это? — спросил Вася.

— Клятва, — сказала Ливия.

— Какая.

— Обычная, которую дают те, кто не может дать другую.

Вася посмотрел на неё. При свете свечи её лицо было не тем, что днём. Днём оно было лицом патрицианки: ровным, правильным, таким, каким бывают лица на статуях, которые ставят на могилах, чтобы прохожие думали, что покойник был красивым, а сейчас оно было лицом живого человека, с тенью под глазом, с морщинкой у рта, с прядью, которая опять выбилась и прилипла к щеке.

— Клятва кому? — спросил он.

— Нам.

— О чём.

— О том, что мы оба видели.

— Что видели?

Ливия посмотрела на него. Долго. Так смотрят на человека, который задаёт вопросы, на которые она сама не знает ответа, но знает, что отвечать всё равно придётся.

— Ты не раб, — сказала она.

— Раб.

— Нет.

— А кто.

— Не знаю, но ты не раб.

Пауза. Свеча подрагивала. Воск капал медленно, как капает время, когда его слишком много.

— А ты не патрицианка, — сказал Вася.

Ливия чуть не засмеялась, чуть-чуть, уголок рта дрогнул, и сразу опал. Патрицианки не смеются. Патрицианки улыбаются, а улыбка, это когда ты показываешь зубы, но не показываешь, что тебе смешно.

— Кто же я?

— Та, кто приходит к рабам ночью, со свечой.

— Может быть, я колдунья?

— Может быть.

— А ты не боишься?

— Чего.

— Колдуний.

Вася посмотрел на неё и тихо засмеялся, как смеются люди, которые давно не смеялись и забыли, как это делается, но вспомнили и испугались, что вспомнили.

— Нет, — сказал он. — Не боюсь.

— Почему.

— Потому что колдуньи, они не приходят со свечой. Они приходят без, а ты — пришла со. Значит не колдунья, а что-то другое.

Ливия посмотрела на него и в её глазах было что-то, что Вася узнал. Это было то самое выражение, с которым смотрят на человека, который сказал то, что не надо говорить, но сказал и хорошо, потому что теперь можно не притворяться.

— Дай руку, — сказала она.

Вася протянул руку. Ладонью вверх. Так протягивают руку, когда просят милостыню, или когда соглашаются, или ко-

гда не знают, что делают, но делают.

Ливия взяла свечу. Наклонила её над его ладонью.

— Будет больно, — сказала она.

— Знаю.

— Терпеть надо.

— Знаю.

— Почему.

— Потому что клятва не вода, она всегда жжёт.

Ливия посмотрела на него, с тем выражением, с которым смотрят на человека, который знает то, что должны знать все, но знают лишь единицы.

— Откуда ты знаешь? — спросила она.

— Не знаю, но я знаю.

И тогда воск капнул.

Первая капля упала на мизинец. Горячая. Как укол, как то, что бывает, когда ты касаешься чего-то, чего касаться не должен был, но коснулся.

Вася не дёрнулся. Он сидел ровно, как сидят люди, которые решили: если уж терпеть, то терпеть до конца, а не до первой капли.

Вторая капля на безымянный, потом третья и четвёртая.

Воск горячий, но не так горяч, как огонь, но горяч так, как горяча правда: обжигает не кожу, а то, что под кожей.

Ливия считала капли, тихо, беззвучно, одними губами. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь.

На восьми она остановилась.

— Теперь мне, — сказала она.

И протянула руку. Ладонью вверх. Так же, как протягивал Вася.

Вася взял свечу. Рука у него не дрожала, потому что прорабы не дрожат, даже когда держат свечу над рукой патрицианки. Он наклонил свечу и воск капнул.

Первая капля упала на её мизинец. Ливия не моргнула. Патрицианки не моргают. Они смотрят, а если и моргают, то так, что никто не видит.

Вторая. Третья. Четвёртая.

Вася считал — вслух, тихо, так, чтобы слышала только она, и чтобы слышал воск. Потому что воск — он живой, это тоже Апулей сказал, а Апулей никогда не врал.

Пятая. Шестая. Седьмая.

На восьмой — Ливия выдохнула. Тихо. Так выдыхают люди, которые держались до последнего, и наконец стало можно.

Восемь.

Они сидели рядом. Руки — ладонями вверх. На каждой по восемь капель воска. Белых. Застывших. Как восемь маленьких памятников тому, что только что произошло.

— Теперь мы вместе, — сказала Ливия.

И положила свою руку на его. Воск к воску. Капля к капле и слиплись, не сразу, но слиплись, как слипаются вещи, которые долго лежали вместе и которые уже не помнят, где чья.

— Это клятва, — сказала она.

- О чем она? - не громко спросил Вася.

— О том, что мы видели, мы помним, мы не забудем.

— А если забудем?

— Тогда воск отпадёт, и мы забудем.

— А если не отпадёт?

— Тогда не забудем, никогда.

Пауза. Свеча догорала. Фитиль трещал тихо, как трещит лёд весной, когда он уже не лёд, а вода, которая ещё помнит, что была льдом.

— А долго будет держаться? — спросил Вася.

— А потом?

— А потом не надо, потому что потом, уже не забудешь. Даже если умрёшь.

Вася посмотрел на свою руку. На восемь капель воска. На руку Ливии легшие поверх его руки и подумал: странно. В Тюмени клятвы давали так: подписывали бумагу, ставили печать, и всё, а тут воск и боль, восемь капель, и рука на руке.

— А почему восемь? — спросил он.

— Потому что восемь, это мера.

— А десять не мера?

— Десять когда ты свободный, а восемь, это когда ты связан.

Вася кивнул. Он понимал не словами. Тем, что было внутри, и что было старше слов.

Ливия встала. Медленно. Так встают люди, которые сидели слишком долго, и у которых затекли ноги, и которые те-

перь делают вид, что не затекли, потому что патрицианки не жалуются на затёкшие ноги.

— Я приду ещё, — сказала она.

— Когда.

— Когда смогу.

— А отец?

— Отец не знает.

— А если узнает?

Ливия посмотрела на него и в её глазах было что-то, что Вася узнал. Это было то самое выражение, с которым смотрят на человека, который задал вопрос, на который она не хочет отвечать, но ответит потому что он спросил.

— Тогда умрём, — сказала она. — Оба.

— И что?

— И ничего. Потому что клятва, она не умирает. Даже если мы...

Она повернулась и пошла прочь, так же тихо, как пришла. Тень от неё длинная, тонкая, как тень от свечи, которая вот-вот погаснет.

А Вася сидел и смотрел на свою руку, на восемь капель воска. На руку Ливии — которая ещё минуту назад лежала поверх его руки, а теперь он подумал: "Странно, воск застыл, а рука, она ещё тёплая, как будто не ушла, как будто осталась, как будто, теперь с ним навсегда".

В кармане его грел медальон горячий, не тёплый, а горячий, как будто он тоже дал клятву и сам не знает, какую.

«И клятва застыла на руках — восемь капель воска, белых, как память, и горячих, как то, что нельзя отменить.»

Площадка. День. Секст.

Секст сидел на камне, не на том, который клали, а на том, который лежал отдельно, потому что его откололи не так, и теперь он был как человек, которого уволили с работы за то, что он не подошёл по размеру, и который теперь сидит на скамейке в парке и делает вид, что ему тут нравится.

В руке он держал длинный свиток, с полями, на которых было написано столько цифр, что если бы все эти цифры превратились в камни, то из них можно было бы построить не Колизей, а что-то побольше, например, Вавилонскую башню, только без Бога, который бы её разрушил, потому что Бог — он такой, всё разрушает, а цифры, они просто лежат, и от них никакого толку, кроме того, что кто-то их написал, и теперь они есть.

Секст считал, не камни, а расходы: Сколько стоит камень; Сколько стоит раб; Сколько стоит еда для раба; Сколько стоит плеть, которой бьют раба; Сколько стоит масло, которым смазывают плеть, чтобы она не ржавела; Сколько стоит воск для свечей, которыми освещают площадку ночью, чтобы рабы не спали и сколько стоит всё это вместе и получается сумма, от которой у любого патриция началась бы изжога, а у Секста не начиналась, потому что у Секста изжога была хроническая, и она уже не реагировала.

Вася подошёл. Секст не поднял головы, он был из тех, кто

не поднимает голову, когда кто-то подходит, потому что если поднимешь, то придётся смотреть, а если смотреть, то придётся говорить, а если говорить, то придётся работать, а работать Секст не хотел, сейчас он хотел считать. Потому что считать, это не работа, а способ не думать о том, что ты работаешь.

— Ты — Секст? — спросил Вася.

Секст поднял голову. Медленно. Так поднимают голову люди, которые забыли, что у них есть голова, и вспомнили — только когда спросили.

— Да, — сказал он.

— Я — Вася.

— Знаю.

— Откуда.

— Потому что ты тот, кто кладёт камни так, будто ты профессиональный раб, а прорабов у нас немного и все у меня на виду.

Вася сел рядом. На другой камень, не на тот, на котором сидел Секст, а на тот, который был рядом, и который был не такой удобный, но зато свободный.

— Что считаешь? — спросил он.

— Расходы.

— Чьи?

— Флакка.

— И много?

— Очень. Столько, что если бы Флакк знал, сколько он

тратит, он бы не строил Колизей. Он бы построил что-нибудь поменьше. Например, туалет, он дешевле и нужнее.

Вася посмотрел на его пальцы. Чернила въелись, не на коже, а в кожу, как въедается совесть в того, кто её предал, или как въедается работа в того, кто её делает слишком долго, и который уже не помнит, когда он в последний раз был не на работе.

— А ты — давно считаешь? — спросил Вася.

— Всегда, то есть, не всегда, а столько, что уже не помню, когда было "не считаю".

— И как считать?

— Как везде, только хуже, потому что везде, это когда ты считаешь свои деньги, а тут чужие, а чужие деньги, они как чужие дети: ты за них отвечаешь, но они не твои, и если что-то случится виноват будешь ты, а не они.

Пауза. Секст посмотрел в свиток, что-то записал коротко и точно, как записывают люди, которые знают, что каждая ошибка в записи, это чья-то спина.

— А у тебя, семья есть? — спросил Вася.

Секст пристально посмотрел на него, как смотрят на человека, который задал вопрос, на который не все отвечают, потому что ответ не для всех.

— Есть, — сказал он наконец.

— Кто?

— Дочь.

— Сколько ей?

— Восемь.

— И что?

— И ничего. Она живёт. На вилле. С матерью, но она умерла год назад. Теперь — одна. То есть не одна, с рабами, но рабы они не семья. Рабы, это когда ты живёшь с теми, кто тебя не любит, но кто не может уйти.

Вася молчал. Он понимал не словами, а тем, что было внутри, и что было старше слов.

— А тебе — сколько платят? — спросил он.

— Нисколько.

— Как нисколько?

— Так. Я писец. Писцам не платят им дают: есть, крышу, свиток, чернила, а денег не дают. Потому что деньги это для тех, кто бьёт, а я не бью, я считаю.

— И как живёшь?

— Как все, то есть не как все, а как те, у кого нет денег, но есть дочь, а дочь, она хочет есть. Каждый день и не только хлеб. Она хочет: оливки, сыр, иногда мёд, а мёд он дорогой, очень дорогой, особенно в Риме. Потому что в Риме мёд это не мёд, а роскошь, а роскошь она для патрициев, у меня нет денег, а у дочери есть желание, а желание оно не спрашивает, есть у тебя деньги или нет. Оно просто есть.

Вася посмотрел на него и понял, что Секст не враг, а человек, у которого есть дочь. И у которого нет денег и который считает чужие деньги и думает о своих.

— А сколько стоит мёд? — спросил он.

— Дорого.

— Насколько.

Секст посмотрел на него и в его глазах было что-то, что Вася узнал. Это было то самое выражение, с которым смотрят на человека, который задал вопрос, на который он не хочет отвечать, потому что ответ это признание того, что когда ты говоришь то, что не должен говорить, даже если тебя не спрашивают.

— Восемь ауреусов, — сказал он.

— И что?

— И всё. Восемь ауреусов и я куплю мёд, дочь — будет счастлива, на неделю, а потом опять и опять, и так до бесконечности или до тех пор, пока она не вырастет, а когда вырастет выйдет замуж, у неё будут свои дети, они тоже будут хотеть мёд, и так до бесконечности.

Вася молчал. Он понимал не словами, а тем, что было внутри, и что было старше слов.

— А если не будет восьми ауреусов? — спросил он.

Секст молча и грустно посмотрел на него, как смотрят на человека, который задал вопрос, на который есть только один ответ, и этот ответ, не для слов.

— Тогда кто-то даст, — сказал он.

— Кто?

— Не знаю, но даст. Потому что восемь ауреусов, это немного. За восемь ауреусов — можно многое. Можно забыть. Можно не видеть. Можно написать не то.

— А если — напишешь не то?

— Тогда, кто-то умрёт.

— А ты напишешь?

Секст посмотрел на него и в его глазах было что-то, что Вася узнал, то самое выражение, с которым смотрят на человека, который задал вопрос, на который он уже ответил, только не словами, а своим молчанием.

— Напишу, — сказал он.

— Почему.

— Потому что дочь надо содержать.

Пауза. Где-то далеко стучали молотки, ровно, как метроном у дирижёра, который дирижирует не симфонией, а чужой жизнью.

— А ты не боишься? — спросил Вася.

— Чего?

— Что напишешь не то, и кто-то умрёт.

Секст посмотрел на него и засмеялся. Тихо. Коротко, как смеются люди, которые давно не смеялись и забыли, как это делается, но вспомнили и испугались, что вспомнили.

— Боюсь, — сказал он. — Но дочь, она не спрашивает, боишься ты или нет. Она просто хочет мёда.

Вася встал. Медленно. Так встают люди, которые поняли то, что не хотели понимать, и теперь — не знают, что с этим делать.

— Спасибо, — сказал он.

— За что.

— За то, что поговорили по душам.

Секст посмотрел на него и в его глазах было что-то, что Вася узнал, то самое выражение, с которым смотрят на человека, который сказал "спасибо", не за то, что он сделал, а за то, что он есть.

— Не благодари, — сказал Секст. — Благодарят за хорошее, а я не хорошее, я просто есть.

Вася пошёл прочь, а Секст остался. Сидел на камне, считал, записывал и думал, о восьми ауреусах, о мёде, о дочери, о том, что он напишет не то и о том, что кто-то умрёт, и о том, что его дочь хочет мёд.

Площадка. Вечер.

Работу кончили до заката. Рог протрубил один раз, коротко, без торжественности, как трубит человек, которому эту трубу сегодня уже трижды выворачивали изо рта. Рабы положили молотки, развязали пояса, побрели к воротам, у стены остался один — тощий, с метлой, потому что после смены мести всегда тому, у кого меньше сил. Это правило было одинаково в Риме и дома, и отличалось только тем, что в Риме за непомечённую площадку били, а дома только ругались, что, при ближайшем рассмотрении, было не сильно лучше.

Вася не ушёл.

Он остался по привычке, которая в двадцать лет была доблестью, в тридцать — профессией, а к сорока стала болезнью: проверить, прежде чем уйти. Придёт утро, придут люди, положут сверху два ряда и если внизу криво, то криво

будет уже на всю высоту, а отвечать будет тот, кто внизу стоял, это тоже было правило, одинаковое везде.

Он шёл вдоль стены и трогал швы. Пальцы помнили, каким должен быть раствор: чуть шершавый, плотный, с песком, который не осыпается, если провести ногтем. Здесь раствор был белый, ровный, красивый.

Слишком красивый, подумал Вася. Как человек, который умылся перед тем, как его поведут.

На восьмом ряду он остановился.

Камень лежал ровно. Лицевая грань — гладкая, с краем, сбитым в угол. Между ним и соседним — шов тонкий, аккуратный. И через камень шла трещина.

Тонкая, не больше волоса. Началась у нижнего края, ушла наискосок и кончилась посреди грани, там, где её уже не видно было с земли.

Вася присел на корточки. Прищурился. Солнце светило на стену боком, и под таким светом трещина была не чёрной, а белой, как нитка, которую кто-то протянул и забыл убрать.

Он постучал костяшкой.

Тук.

Потом, рядом, по целому камню.

Тук.

А на треснувшем звук был не такой, а что-то среднее между «тук» и «бульк», звук, какой бывает, когда стучишь по горшку, в котором уже нет глины, а есть только воспоминание о глине.

— Ну, — сказал Вася вслух. — Здравствуй.

Трещина не ответила, они вообще не отвечают. Трещины просто растут, пока кто-нибудь не спросит.

Апулей пришёл бесшумно. Он вообще ходил бесшумно для человека таких рук: подошёл, встал рядом, посмотрел. Потом тяжело присел, как садятся люди, у которых колени давно не спрашивают разрешения.

— Видишь? — спросил Вася.

— Вижу.

— Камень сам?

Апулей провёл пальцем по трещине. Провёл второй раз, медленнее. Потом положил ладонь на грань и стал её греть, так греют больное место, чтобы понять, где именно болит.

— Камень сам по жиле, — сказал он. — Жила у него вот здесь. От края к краю, а эта через.

Он ткнул пальцем в белую нитку.

— Через, это не само, — сказал Апулей. — Через это кто-то.

Вася уже знал. Он просто хотел, чтобы сказал другой. Потому что когда знаешь сам — это подозрение, а когда сказал другой, это работа.

Апулей встал, достал из поясной сумки зубило, не то, что отдал Васе, своё, старое, с рукоятью светлой, и осторожно просунул его под нижний край камня, не бил, а просто поддел.

Камень шевельнулся, чего быть не должно было.

Камень, который положен правильно, не шевелится. Он сидит в растворе, как зуб в челюсти: пока держит десна, не шатается, а этот шатнулся на палец, не больше, и Апулей убрал руку, и лицо у него стало такое, какое бывает у человека, который нашёл у сына чужие штаны, и сразу понял всё, но спрашивать не хочет.

— Подточили, — сказал он. — Снизу, пятку сняли.

— Кем?

— Чем-то тонким. Резцом или зубилом, если руку иметь.

— Зачем?

— Чтобы сел низко, — сказал Апулей. — Снаружи ровно, а внутри висит, на одном углу.

Пауза, за воротом метла тощего шуршала по песку: вжик, вжик, вжик, как будто кто-то очень аккуратно перечёркивал чужие имена.

— Раствор, — сказал Вася.

Апулей кивнул. Они оба уже поняли.

Вася ногтем выковырнул из шва немного белого порошка. Растёр между пальцами. Песка не было. Совсем. Была известь и ещё что-то, лёгкое, серое, которое рассыпалось в пыль и липло к поту.

— Зола, — сказал Апулей.

— Много.

— Восемь частей на одну.

— Откуда знаешь?

— Я не знаю. Я считаю. Всегда считал.

Он взял у Васи щепотку, понюхал, сплюнул.

— Песок промыли или не привезли, а чтобы шов был белый добавили золы. Снаружи красиво, через месяц осыплется.

Вася сидел на корточках и чувствовал, как по спине идёт холод, не от вечера, а от расчёта. Он уже считал. Восемь рядов. На каждом свои камни. Подточена пятка, зола в шве, нагрузка ушла на один угол. Днём держит, недели держит, а потом придут сверху, положут ещё ярусы, поставят леса, запустят народ и всё это будет висеть над людьми, как обещание, которое никто не собирается исполнять.

И самое противное было не в том, что это сделают, а в том, что снаружи будет красиво.

— Надо сказать, — сказал Вася.

Апулей не ответил сразу. Он вынул из сумки уголёк и нарисовал на треснувшем камне крест. Маленький, аккуратный, такой, каким ставят отметку на брак, чтобы потом, при дневном свете, найти руками.

— Кому, — спросил он.

— Секунду.

— Секунд запишет. Секунд ответит, а ответит не тот, кто подточил.

Это была правда, и правда тут была устроена просто: у плети всегда есть конец, и этот конец всегда попадает в того, кто ближе, не в того, кто дальше. В того, кто ближе.

— Флакку, — сказал Вася.

— Флакк спросит: где замечание?

— Вот я и говорю — замечание.

— Ты раб. У раба не бывает замечания, у раба бывает вина.

Вася посмотрел на крест. Уголёк был чёрный, свежий, и на белом камне выглядел как подпись под документом, который никто не подпишет.

— Секст, — сказал он.

Апулей поднял глаза.

— Писец, — пояснил Вася. — Он считает. Он и запишет.

— Писец запишет то, что ему скажут записать, — сказал Апулей. — Он этим живёт.

— Он человек.

Апулей посмотрел на него долго, затем убрал зубило в сумку.

— Все люди, — сказал он. — Пока не придёт срок.

Они работали до темноты. Молча, без огня, чтобы сверху не увидели. Сняли восемь камней, ровно восемь, по одному на каждый пролёт, и Вася, когда считал их, почувствовал, как у него внутри всё сжалось: не число, а совпадение. Восемь. Здесь всё сходилось к восьми, даже когда не должно было.

Подточены были три пятки. В остальных швах была зола. Вася вычистил, промыл водой из бадьи, смешал новый раствор — известь, пепел, песок, тот самый, настоящий, который Апулей принёс из своего мешка, потому что со склад-

ного песок сегодня был не тот, да и вчера, кажется, тоже.

Клали без разговоров. Камень входил и Вася слушал его, как слушал в карьере: не ухом, ладонью. Тук — хорошо. Бульк — переделывать, на седьмом стемнело, и восьмой он ставил уже наощупь, и рука сама знала, куда, и от этого было страшнее, чем если бы он ошибся.

Когда кончили, Апулей пощупал швы и сказал:

— Сейчас держит.

— А потом?

— А потом не я клал.

Это была не шутка, а профессиональная честность, та самая, из-за которой каменщики не спят, а заказчики спят прекрасно.

На верхней трибуне стоял человек.

Вася не сразу его заметил. Сначала почувствовал спиной, тем местом, которым чувствуешь чужой взгляд, если всю жизнь работал на высоте.

Марк. В тунике с красной каймой. Руки сложены на груди. Он стоял там, откуда всю площадку видно как ладонь, и смотрел не на стену.

На них.

Не на камни. На руки. На то, как Вася вычищал шов. На то, как Апулей поднимал блок. На то, что они делали это без огня, без приказа, без записи.

Вася встал. Марк не ушёл.

Они смотрели друг на друга через двадцать локтей и через

всё, что между ними было: через пурпур, через рабство, через восемь лет, которые одному даны, а другому положены.

Потом Марк чуть-чуть наклонил голову изображая не поклон и не угрозу, а что-то среднее, как наклоняют голову, когда узнают, наконец, с кем имеют дело.

И ушёл.

Вася смотрел ему вслед и думал не о том, что Марк видел, а о том, что Марк видел и не остановил.

Значит, ему было нужно, чтобы они чинили.

Значит, он уже знал, сколько им на это понадобится.

У ворот их догнал Секст, со свитком, с чернилами, с лицом человека, который весь вечер считал и теперь не мог вспомнить, что именно.

— Что здесь? — спросил он, глядя на кучу камней.

— Перебрали, — сказал Вася. — Восьмом ряду, пятки, раствор.

Секст вынул стилос. Прищурился на темноту, будто темнота была помехой в документе, а не состоянием мира.

— Записать?

— Запиши.

Повисла долгая пауза, такая, за которую в казарме успевает смениться целый храп с баса на баритон.

Потом Секст написал, коротко, точно, и спрятал стилус.

— Что написал? — спросил Вася.

— Замечаний нет, — сказал Секст.

И ушёл, не оборачиваясь.

Апулей не сказал ничего. Он только подобрал с земли свой уголёк, вытер его о штанину и убрал в сумку аккуратно, как убирают инструмент, который завтра снова понадобится.

Вася стоял один у стены. Восьмой ряд был ровный белый и красивый.

В кармане медальон был холодный. Впервые холодный.

Он положил на стену ладонь и держал её там, пока камень не ответил теплом и понял: чинить мало, кто-то подтачивает, кто-то считает или пишет «замечаний нет», а стена стоит, не потому, что держит, а потому, что ещё не кончилось то, что её держало.

Глава 4. Апулей предупреждает

Казарма. Ночь. Землетрясение.

Ночь была тихая, настолько тихая, что даже великан внизу не храпел, а только посапывал, как паровоз, который устал и решил немного передохнуть перед тем, как опять гудеть. Тит спал на нижних нарах — тихо, аккуратно, так, как спят люди, которые всю жизнь учили других и теперь научились спать так, чтобы не мешать. Худой справа ворочался — но тоже тихо, потому что даже ругательства во сне бывают тихими, если человек устал.

Вася лежал на верхних нарах и не спал. Не потому что не хотел, а потому что что-то внутри него не хотело. Что-то, что было старше усталости, старше страха, старше всего, что можно назвать словом. Это «что-то» сидело в груди, как сидит заноза, которую не видно, но которая есть, и от которой всё время думаешь о руке.

В кармане лежали медальон и камень. Медальон сегодня был холодный. Не тёплый. Не горячий. Холодный. Как лёд. Как металл, который долго лежал на снегу. Как рука мертвеца, которую трогает живая рука и понимает: всё.

Вася сунул руку в карман и отдёргнул её. Медальон был не просто холодный, он был холодный так, как бывают холодными вещи, которые предупреждают. Как бывает холодной ручка двери, за которой — пожар, как бывает холодным пол,

по которому бегут босиком к окну, чтобы увидеть, что горит дом соседа.

И тут началось.

Не сразу, не так, как в фильмах, где сначала трясёт, потом падают колонны, потом все бегут, и всё — красиво, и музыка громкая, а так, как бывает в жизни: сначала — тишина. Потом что-то. Потом ещё что-то. Потом понимаешь, что это «что-то» и есть оно.

Сначала в бадье, которая стояла у входа, качнулась вода, не от ветра, его не было. Не от того, что кто-то толкнул, никто не толкал. Вода качнулась сама, как качается вода в стакане, когда поезд трогается с места. Только поезда не было и станции не было и рельсов не было.

Была только земля и она дышала.

— Что это? — спросил худой справа. Голос у него был сонный, с таким оттенком, каким говорят люди, которые ещё не поняли, что проснулись, и думают, что это сон.

— Не знаю, — сказал Вася и встал, не потому что понял, а потому что ноги сами встали, как встают, когда чувствуют: надо бежать. Как встают, когда внутри что-то старше разума говорит: не думай, беги.

Казарма качнулась.

Не сильно, а так, как качаются дома, когда рядом проходит тяжёлая телега. Только телеги не было. И дороги не было. И телега, если бы и была, не смогла бы качнуть дом так, как качнулся этот.

Великан внизу проснулся и сразу заорал, не от страха, а от привычки. Потому что когда просыпаешься в казарме, и казарма качается, орать это рефлекс, как моргать, как дышать, как чесать там, где чешется.

— Все вон! — заорал он. — Все пошли вон!

И все пошли, не побежали, а пошли. Потому что когда казарма качается второй раз — бежать уже поздно. Когда качается третий раз бежать уже некуда. Когда качается четвёртый бежать уже некому, потому что все уже лежат.

Вася выскочил первым, не потому что герой, а потому что был на верхних нарах, и с верхних нар — ближе к двери. Выскочил и увидел.

Ночь была не ночью. Ночь была пылью. Густой, белой, такой, что луна в ней была не луной, а пятном, как бывает пятном солнце в тумане и в этой пыли падали камни.

Не с неба, а с Колизея, с верхних ярусов, которые ещё вчера были целыми, а сегодня — уже нет. Камни падали так, как падают вещи, которые устали держаться, как падают люди, которые устали стоять, как падают обещания, которые устали быть обещаниями.

Где-то далеко кричали. На разных языках, потому что в Риме кричат на всех языках сразу, и от этого крик получается не криком, а хором, в котором каждый поёт свою партию, и ни один не слышит другого.

Апулей выскочил следом и схватил Васю за руку, не за плечо, а за руку. Так хватают не для того, чтобы остановить, а

для того, чтобы увести. Так хватают детей, когда те бегут под машину. Так хватают тех, кто не понимает, что ему сейчас будет плохо.

— Сюда, — сказал Апулей.

И потащил в сторону, от стены, от Колизея, от всего, что падало.

Вася бежал и видел, как падает камень с третьего яруса, он летит медленно, как летят вещи, которые не хотят падать, но которым уже всё равно. Как он падает на нары, которые ещё минуту назад были чьей-то кроватью. Как нары ломаются и под ними кто-то есть, кто уже не кричит.

— Не смотри, — сказал Апулей.

— Я не смотрю. Я вижу.

— Это одно и то же.

Они добежали до открытого места, до середины площадки, где ничего не падало, потому что падать было нечему. Там уже стояли другие человек двадцать, тридцать, все в пыли, все в белом, как привидения, которые забыли, что они привидения, и думают, что они люди.

Тит стоял с закрытыми глазами, не от страха, а от счёта. Он считал про себя, тихо, одними губами. Считал что-то. Может быть, годы. Может быть, камни. Может быть, то, что осталось.

Секунд стоял с плетью в руке, она висела, как всегда, как змея, которая не решила, кусать или нет. Только сейчас она не кусала — потому что ей было некого. Потому что когда

падает Колизей — плеть уже не работает. Потому что плеть, она для тех, кто стоит, а когда все лежат, то плеть, это просто верёвка.

И тут Вася увидел секцию, ту самую, которую он чинил и перебрал, которую он положил ровно, правильно, с настоящим раствором, с настоящим песком, с настоящими пятками.

Она стояла, целая. Ровная. Белая, как стояла, так и стоит.

А рядом лежала другая. Та, за которую отвечал Марк. Та, которую Вася не чинил. Та, которую никто не чинил.

Она рухнула!

Восемь рядов все упали вниз. Тридцать камней превратились в пыль. Два раба задавлены под камнями и крик, не крик, а что-то среднее между криком и стоном, что-то, что бывает, когда умирают не сразу, а долго, и когда это «долго», хуже, чем «сразу».

Вася смотрел и не понимал, не потому что не видел, а потому что видел слишком много. Видел, как его секция стоит, как стена Марка рухнула, как медальон в кармане холодный, как Апулей рядом дышит, Тит — считает, Секунд — стоит с плетью, пыль оседает, крики стихают, ночь опять становится ночью.

— Это — не моя, — сказал он.

— Знаю, — сказал Апулей.

— Это его.

— Знаю.

— Почему его?

Апулей посмотрел на него. Долго. Так смотрят на человека, который задал вопрос, на который ответ простой, но который не все хотят слышать.

— Потому что он, — сказал Апулей.

Пауза. Пыль оседала медленно, как оседает всё, что было поднято, и что теперь возвращается на место, как возвращается всё, что ушло, и что теперь должно вернуться, как возвращается вина, к тому, кто её сделал.

Вася глядел на свою секцию, на восемь ровных рядов, на швы как по линейке, на белый раствор, ещё не утративший свежести, и думал: «Странно. Я чинил, и она стоит. Он не чинил, и она рухнула, или чинил, да не так. Или не чинил, а только сделал вид, что чинил. Или чинил, да подточил. Или подточил, и не думал, что будет землетрясение, думал и знал».

И эта последняя мысль не шла у него из головы, как белый раствор, что не желал схватываться до конца.

Медальон в кармане был холодный, как лёд или рука мертвеца, как вещь, которая предупреждала и которую не слушали.

Апулей положил руку на плечо Васю. Не для того, чтобы утешить. Для того, чтобы держать. Потому что когда рядом падает Колизей, даже частично, надо, чтобы кто-то держал. Потому что когда один не держит, держит другой. Потому что когда никто не держит то падают все.

— Пойдём, — сказал Апулей.

— Куда.

— Туда, где не падает.

— А где не падает?

— Нигде, но там, куда мы идём, пока не падает.

Они пошли через пыль, через крик, через ночь, которая опять стала ночью, а за ним стояла секция Васи: ровная, белая, целая, а рухнула секция Марка: Кривая; Серая; Мёртвая.

Между ними была разница, которую никто не видел, кроме тех, кто чинил и тех, кто не чинил. Холод вошёл в карман, не от ночи, а от того, что медальон уже знал, что будет, и решил не греть зря.

Площадка. Рассвет.

Рассвет был не рассветом, а тем временем суток, когда ночь уже ушла, а день ещё не решил, придёт ли он. Свет был серый, густой, как свет в комнате, где долго не открывали окно, и от этого света всё казалось не тем, чем было: камни не камнями, а тем, что от них осталось; люди не людьми, а тем, что от них осталось; и пыль не пылью, а тем, что осталось от всего сразу.

Площадка пахла так, как пахнут места, где что-то случилось: кровью, известью, страхом и чем-то ещё, тем самым запахом, который появляется, когда земля дышит, а потом перестаёт, и после этого всё пахнет не так, как до.

Вася стоял у руин. У тех самых — где восемь рядов, трид-

цать камней, два придавленных раба и их уже вытаскивали, одного живого, другого нет. Живой кричал тихо, как кричат люди, у которых кончился воздух, но не кончилась боль. Мёртвый молчал, как молчат те, у кого кончилось всё.

Марк стоял рядом, в тунике, которая была не красной, а серой от пыли, и от этого казался не патрицием, а тем, что от патриция осталось. Лицо у него было белое, не от страха, а от злости, потому что злость делает лицо белым раньше, чем страх.

— Он, — сказал Марк и указал на Васю.

Не громко и не тихо, как говорят люди, которые уверены, что их услышат, потому что говорить громче не нужно. Голос у него был не властный, а ровный, как ровным бывает камень, который положили на камень, и он не шевелится, потому что ему некуда шевелиться.

— Он чинил, — сказал Марк. — Ночью, без приказа, я сам видел.

Вася посмотрел на него и подумал: странно. Марк говорит так, будто он не обвинитель, а жертва, как будто это не его секция рухнула, а его обидели.

— Я чинил другую, — сказал Вася.

— Какую.

— Ту, которая стоит.

Марк посмотрел на секцию Васи, на восемь рядов, на ровные швы, на белый раствор и в его глазах было что-то, что Вася узнал, это было то самое выражение, с которым смотрят

на человека, который сказал правду, и правда эта неудобная, и от неё надо избавиться, как избавляются от вещи, которая не подходит по размеру.

— Это — не доказательство, — сказал Марк.

— А что тогда доказательство?

— То, что я видел.

— А что ты видел?

— Что ты чинил ночью, без огня, без приказа, без записи.

Пауза, пыль оседала медленно, как оседает всё, что было поднято, где-то далеко кричали на разных языках, как кричат в Риме, когда не знают, на каком кричать.

Флакк пришёл не сразу. Сначала появилась тень. Потом засиял пурпур. Потом явился сам. Он шёл по площадке так, как ходят люди, которые уверены, что земля под ними — их собственность, что, в общем, было правдой. Земля была его и рабы его, камни были его и руины тоже.

Флакк пристально посмотрел на руины, так смотрят на вещь, которую купили дорого, и теперь проверяют, не обманули ли. Потом на Марка, затем на Васю.

— Что случилось? — спросил Флакк.

— Саботаж, — сказал Марк.

— Кто.

— Он.

Флакк долго посмотрел на Васю, так смотрят на человека, которого уже решили, но хотят, чтобы он сам сказал, за что его решили.

— Ты чинил? — спросил Флакк.

— Да, — сказал Вася.

— Когда.

— Ночью.

— Почему ночью.

— Потому что днём нельзя. Потому что ночью никто не видит, а если увидят убьют.

Флакк посмотрел на Марка, тот не смотрел на Флакка, а смотрел на Васю и Вася увидел: в его глазах не злоба, а страх человека, который понял: он теряет. Не секцию, те были ему не нужны. Терял он то, что дома, на старой работе, называли «правом первого голоса». Правом человека, который говорит первым, и поэтому его слушают.

— Где доказательство? — спросил Флакк.

— Я видел, — сказал Марк.

— Это не доказательство, а слово.

— А что тогда доказательство?

— Документ. Запись. Свиток.

Флакк посмотрел вокруг и увидел Секста, тот стоял в стороне со свитком в руке, с чернилами на пальцах, с лицом человека, который весь ночь считал и теперь не мог вспомнить, что именно.

— Секст, — сказал Флакк. — Покажи.

Секст медленно подошёл, как подходят люди, которые знают, что сейчас будет плохо, и которые хотят, чтобы это «сейчас» подольше не наступало.

— Что написано? — спросил Флакк.

Секст развернул свиток. Посмотрел и Вася увидел: в его глазах не страх, а понимание человека, который понял, что он написал не то и теперь надо, за это, ответить.

— Замечаний нет, — сказал Секст.

Пауза. Пыль оседала. Где-то далеко кричали. Живой раб перестал кричать — видимо, кончился воздух. Или боль, или и то, и другое.

— На обе секции? — спросил Флакк.

— На обе, — сказал Секст.

— Это ложь, — сказал Вася.

Все посмотрели на него. Так смотрят на человека, который сказал то, что не должен был говорить, но Вася говорил, потому что не говорить было хуже. Потому что когда молчишь, ты соглашаешься, а когда соглашаешься, то ты виноват.

— Это ложь, — повторил Вася. — Я нашёл трещину. Я чинил. Я писал Сексту, но он написал — «замечаний нет».

— Почему? — спросил Флакк.

Секст долго молчал, как молчат люди, у которых кончились слова, и остались только слёзы, и слёзы тоже кончились.

— Почему? — повторил Флакк.

— Потому что восемь, — сказал Секст.

— Что восемь.

— Ауреусов.

Пауза. Флакк посмотрел на Марка. Марк побледнел, так

бледнеют люди, которые поняли: их раскрыли, но не поняли насколько.

— Кто дал? — спросил Флакк.

Секст молчал, затем посмотрел на Марка и сказал:

— Он.

Марк сделал шаг назад, не от страха, а от понимания человека, который понял, что он проиграл, не в суде, а в чём-то большем. Он проиграл свою жизнь тому, кого считал грязью.

— Это ложь, — сказал Марк.

— Это правда, — сказал Секст.

— Докажи.

— Я доказал, написал, получил. Восемь ауреусов. Для мёда. Для дочери.

Флакк пристально посмотрел на Васю и Вася увидел: в его глазах не злобу, а усталость человека, который устал от того, что ему приходится решать.

— Суд, — сказал Флакк. — Завтра.

И ушёл, за ним последовал Марк, за ним ретировался Секст, а Вася остался. Стоял у руин. Смотрел на свою секцию ровную, белую, целую и на кривую, серую, мёртвую секцию Марка.

И подумал: "Странно, я чинил и она стоит. Он не чинил и она рухнула или, он чинил, но не так или он подточил и не думал, что будет землетрясение, или думал".

Суд был назначен на завтра, на рассвет, на то время, когда правда и ложь встречаются так, как встречаются в тюрьме

сокамерники.

Зал Флакка. День. Суд.

Зал Флакка был не залом, а тем местом, где правда и ложь встречаются так, как встречаются в тюрьме сокамерники: вроде бы в одной камере, но каждый знает, что один из них — стукач, и никто не знает, кто именно, и от этого оба ведут себя хорошо, но по-разному.

Стены были из мрамора — белого, с прожилками, которые были похожи на трещины, но которые никто не называл трещинами, потому что в Риме трещины называли прожилками, а прожилки — украшением, а украшение — тем, что делает правду красивой, а ложь — убедительной.

Пол был из мрамора — другого, с узором, который был похож на лабиринт, и от этого пола было такое ощущение, будто ты стоишь не в зале, а в центре чего-то, из чего не выйдешь, даже если очень захочешь.

Свет шёл из окон — жёлтый, густой, как мёд, разбавленный водой, и от этого света всё казалось не тем, чем было: пурпур на Флакке — не пурпуром, а кровью, которая застыла; золото на кайме — не золотом, а чем-то, что давно перестало быть золотом и стало просто жёлтым; и мрамор — не мрамором, а тем, что остаётся от мрамора, когда его долго трогают руки, которые не знают, что делать с властью.

Флакк сидел в кресле — не на троне, потому что трон — это для императора, а кресло — для патриция, и разница между ними была такая же, как между богом и его предста-

водителем на земле: бог — везде, а представитель — там, куда его поставили.

Рядом с Флакком — два советника. Старые, в тогах, с лицами, которые были похожи на лица на монетах: ровные, правильные, и от этого такие скучные, что хотелось взять монету и перевернуть её, чтобы увидеть, что там, с обратной стороны.

Напротив — Марк. В тунике с красной каймой — сегодня кайма была не красной, а серой от пыли, которая не сошла даже после ночи. Лицо у него было белое — не от страха, а от злости, потому что злость делает лицо белым раньше, чем страх, и держится дольше.

Посередине — Вася. Босой. В набедренной повязке. С мозолями на ладонях и песком под ногтями и с медальоном в кармане — холодным, как лёд, как рука мертвеца, как вещь, которая предупреждала, и которую не послушали.

За дверью — Секст. Со свитком. С чернилами. С лицом человека, который всю ночь не спал и теперь не помнил, кто он: писец, предатель, отец или просто тот, кто скоро умрёт.

— Начинаем, — сказал Флакк.

Голос у него был не громкий, но такой, что его слышали все, потому что когда говорит патриций, все слышат, даже те, кто делает вид, что не слышит.

— Обвинение саботаж, — сказал Флакк. — Обвиняемый раб, без имени, без рода, без всего, что имеет значение в Риме. Обвинитель — Марк, сын Флакка, патриций, человек, у

которого есть всё, что имеет значение в Риме.

Вася подумал: странно. Обвиняемый без имени. Обвинитель сын Флакк и суд в зале Флакка и это справедливость или то, что в Риме называют справедливостью, что, в общем, одно и то же.

— Слово обвинителю, — сказал Флакк.

Марк медленно встал, так встают люди, которые уверены, что их услышат, потому что они патриции, а патриции в Риме не говорят, их и так слушают.

— Прошлой ночью, — сказал Марк, — этот раб чинил секцию. Ночью. Без приказа. Без огня. Без записи. Я видел.

— Что именно ты видел? — спросил Флакк.

— Я видел, как он клал камни, как он менял раствор, он — делал вид, что чинит.

— А на самом деле?

— На самом деле — он подтачивал. Я видел.

— Докажи.

Марк посмотрел на Флакка, с тем выражением, с которым смотрят на человека, который задал вопрос, на который ответ простой, но который не все хотят слышать.

— Я видел, — сказал Марк.

— Это не доказательство, — сказал Флакк. — Это слово.

— А что тогда доказательство?

— Документ. Запись. Свиток.

Флакк посмотрел на дверь и кивнул.

Вошёл Секст, со свитком, с чернилами, с лицом человека,

который всю ночь не спал и теперь не помнил, кто он.

— Секст, — сказал Флакк. — Покажи.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.